

# Шагреновая кожа

**Автор:**

Оноре Бальзак

Шагреновая кожа

Оноре де Бальзак

Один из самых загадочных, увлекательных и философских романов «Человеческой комедии».

Роман, в котором мистическая, фантастическая завязка становится лишь толчком для создания автором глубоко реалистичных картин жизни высшего света. Автор открывает читателю самые тайные и темные закоулки человеческой души.

Любое желание может быть исполнено, но какова цена, которую придется заплатить? Не слишком ли она высока? И стоят ли сиюминутные, мелкие желания не только души, но и жизни человека?

Оноре де Бальзак

Шагреновая кожа

Господину Савари, члену Академии наук

Стерн, «Тристрам Шенди», гл. CCCXXII

## I. Талисман

В конце октября прошлого года один молодой человек вошел в Пале-Рояль, как раз к тому времени, когда открываются игорные дома – согласно закону, охраняющему права страсти, подлежащей обложению по самой своей сущности. Не колеблясь, он поднялся по лестнице притона, на котором значился номер «36».

– Не угодно ли вам отдать шляпу? – сурово крикнул ему мертвенно-бледный старикашка, который примостился где-то в тени за барьером, а тут вдруг поднялся и выставил напоказ мерзкую свою физиономию.

Когда вы входите в игорный дом, то закон прежде всего отнимает у вас шляпу. Быть может, это своего рода евангельская притча, предупреждение, ниспосланное небом, или, скорее, особый вид адского договора, требующего от вас некоего залога? Быть может, хотят заставить вас относиться с почтением к тем, кто вас обыграет? Быть может, полиция, проникающая во все общественные клоаки, желает узнать фамилию вашего шляпника или же вашу собственную, если вы написали ее на подкладке шляпы? А может быть, наконец, намереваются снять мерку с вашего черепа, чтобы потом составить поучительные статистические таблицы умственных способностей игроков? На этот счет администрация хранит полное молчание. Но имейте в виду, что, как только вы делаете первый шаг по направлению к зеленому полю, шляпа вам уже не принадлежит, точно так же, как и сами вы себе не принадлежите: вы во власти игры – и вы сами, и ваше богатство, и ваша шляпа, и трость, и плащ. А при выходе игра возвращает вам то, что вы сдали на хранение, – то есть убийственной, овеществленной эпиграммой докажет вам, что кое-что она вам все-таки оставляет. Впрочем, если у вас новый головной убор, тогда урок, смысл которого в том, что игроку следует завести особый костюм, станет вам в копеечку.

Недоумение, появившееся на лице молодого человека при получении номерка в обмен на шляпу, поля которой, по счастью, были слегка потерты, указывало на его неопытность; старикашка, вероятно, с юных лет погрязший в кипучих наслаждениях азарта, окинул его тусклым, безучастным взглядом, в котором философ различил бы убожество больницы, скитания банкротов, вереницу утопленников, бессрочную каторгу, ссылку на Гуасакоалько. Испитое и

бескровное его лицо, свидетельствовавшее о том, что питается он теперь исключительно желатинными супами Дарсе, являло собой бледный образ страсти, упрощенной до предела. Глубокие морщины говорили о постоянных мучениях: должно быть, весь свой скудный заработок он проигрывал в день получки. Подобно тем клячам, на которых уже не действуют удары бича, он не вздрогнул бы ни при каких обстоятельствах, он оставался бесчувственным к глухим стонам проигравшихся, к их немым проклятиям, к их отупелым взглядам. То было воплощение игры. Если бы молодой человек пригляделся к унылому этому церберу, быть может, он подумал бы: «Ничего, кроме колоды карт, нет в его сердце!» Но он не послушался этого олицетворенного совета, поставленного здесь, разумеется, самим провидением, подобно тому, как оно же сообщает нечто отвратительное прихожей любого притона. Он решительными шагами вошел в залу, где звон золота околдовывал и ослеплял душу, объятую алчностью. Вероятно, молодого человека толкала сюда самая логичная из всех красноречивых фраз Жан-Жака Руссо, печальный смысл которой, думается, таков: «Да, я допускаю, что человек может пойти играть, но лишь тогда, когда между собою и смертью он видит лишь свое последнее эку».

По вечерам поэзия игорных домов пошловата, но ей обеспечен успех, так же как и кровавой драме. Залы полнятся зрителями и игроками, неимущими старичками, что приплелись сюда погреться, лицами, взволнованными оргией, которая началась с вина и вот-вот закончится в Сене. Страсть здесь представлена в изобилии, но все же чрезмерное количество актеров мешает вам смотреть демону игры прямо в лицо. По вечерам это настоящий концерт, причем орет вся труппа и каждый инструмент оркестра выводит свою фразу. Вы увидите здесь множество почтенных людей, которые пришли сюда за развлечениями и оплачивают их так же, как одни платят за интересный спектакль или за лакомство, а другие, купив по дешевке где-нибудь в мансарде продажные ласки, расплачиваются за них потом целых три месяца жгучими сожалениями. Но поймете ли вы, до какой степени одержим азартом человек, нетерпеливо ожидающий открытия притона? Между игроком вечерним и утренним такая же разница, как между беспечным супругом и любовником, томящимся под окном своей красавицы. Только утром вы встретите в игорном доме трепетную страсть и нужду во всей ее страшной наготе. Вот когда вы можете полюбоваться на настоящего игрока, на игрока, который не ел, не спал, не жил, не думал, – так жестоко истерзан он бичом неудач, уносивших постоянно удваиваемые его ставки, так он исстрадался, измученный зудом нетерпения – когда же наконец выпадет «тридцать и сорок»? В этот проклятый час вы заметите глаза, спокойствие которых ужасает, заметите лица, которые вас обвораживают, взгляды, которые как будто приподнимают карты и пожирают их.

Итак, игорные дома прекрасны только при начале игры. В Испании есть бой быков. В Риме были гладиаторы, а Париж гордится своим Пале-Роялем, где раззадоривающая рулетка дает вам насладиться захватывающей картиной, в которой кровь течет потоками и не грозит, однако, замочить ноги зрителей, сидящих в партере. Постарайтесь бросить беглый взгляд на эту арену, войдите!.. Что за убожество! На стенах, оклеенных обоями, засаленными в рост человека, нет ничего, что могло бы освежить душу. Нет даже гвоздя, который облегчил бы самоубийство. Паркет обшаркан, запачкан. Середину залы занимает овальный стол. Он покрыт сукном, истертым золотыми монетами, а вокруг тесно стоят стулья – самые простые стулья с плетеными соломенными сиденьями, и это ясно изобличает любопытное безразличие к роскоши у людей, которые приходят сюда на свою погибель, ради богатства и роскоши. Подобные противоречия обнаруживаются в человеке всякий раз, когда душа с силой отталкивается сама от себя. Влюбленный хочет нарядить свою возлюбленную в шелка, облечь ее в мягкие ткани Востока, а чаще всего обладает ею на убогой постели. Честолюбец, мечта о высшей власти, пресмыкается в грязи раболепства. Торговец дышит сырым, нездоровым воздухом в своей лавчонке, чтобы воздвигнуть обширный особняк, откуда его сын, наследник скороспелого богатства, будет изгнан, проиграв тяжбу против родного брата. Да, наконец, существует ли что-нибудь менее приятное, чем дом наслаждений? Страшное дело! Вечно борясь с самим собой, теряя надежды перед лицом нагрянувших бед и спасаясь от бед надеждами на будущее, человек во всех своих поступках проявляет свойственные ему непоследовательность и слабость. Здесь, на земле, ничто не осуществляется полностью, кроме несчастья.

Когда молодой человек вошел в залу, там было уже несколько игроков. Три плешивых старика развалившись сидели вокруг зеленого поля; их лица, похожие на гипсовые маски, бесстрастные, как у дипломатов, изобличали души пресыщенные, сердца, давно уже разучившиеся трепетать даже в том случае, если ставится на карту неприкосновенное имение жены. Молодой черноволосый итальянец, с оливковым цветом лица, спокойно облокотился на край стола и, казалось, прислушивался к тем тайным предчувствиям, которые кричат игроку роковые слова: «Да! – Нет!» От этого южного лица веяло золотом и огнем. Семь или восемь зрителей стояли, выстроившись в ряд, как на галерке, и ожидали представления, которое им сулила прихоть судьбы, лица актеров, передвижение денег и лопаточек. Эти праздные люди были молчаливы, неподвижны, внимательны, как толпа, собравшаяся на Гревской площади, когда палач отрубает кому-нибудь голову. Высокий худой господин в потертом фраке держал в одной руке записную книжку, а в другой – булавку, намереваясь

отмечать, сколько раз выпадет красное и черное. То был один из современных Танталов, живущих в стороне от наслаждений своего века, один из скупцов, играющих на воображаемую ставку, нечто вроде рассудительного сумасшедшего, который в дни бедствий тешит себя несбыточной мечтой, который обращается с пороком и опасностью так же, как молодые священники – с причастием, когда служат раннюю обедню. Напротив игрока поместились пройдохи, изучившие все шансы игры, похожие на бывалых каторжников, которых не испугаешь галерами, явившиеся сюда, чтобы рискнуть тремя ставками и в случае выигрыша, составлявшего единственную статью их дохода, сейчас же уйти. Два старых лакея равнодушно ходили взад и вперед, скрестив руки, и по временам поглядывали из окон в сад, точно для того, чтобы вместо вывески показать прохожим плоские свои лица. Кассир и банкомет только что бросили на понтеров тусклый, убийственный взгляд и сдавленным голосом произнесли: «Ставьте!», когда молодой человек отворил дверь. Молчание стало словно еще глубже, головы с любопытством повернулись к новому посетителю. Неслыханное дело! При появлении незнакомца отупевшие старики, окаменелые лакеи, зрители, даже фанатик-итальянец – решительно все испытали какое-то ужасное чувство. Надо быть очень несчастным, чтобы возбудить жалость, очень слабым, чтобы вызвать симпатию, очень мрачным с виду, чтобы дрогнули сердца в этой зале, где скорбь всегда молчалива, где горе весело и отчаяние благопристойно. Так вот именно все эти свойства и породили то новое ощущение, которое расшевелило оледеневшие души, когда вошел молодой человек. Но разве палачи не роняли порою слез на белокурые девичьи головы, которые они должны были отсечь по сигналу, данному Революцией?

С первого же взгляда игроки прочли на лице новичка какую-то страшную тайну; в его тонких чертах сквозила грустная мысль, выражение юного лица свидетельствовало о тщетных усилиях, о тысяче обманутых надежд! Мрачная бесстрастность самоубийцы легла на его чело матовой и болезненной бледностью, в углах рта легкими складками обрисовалась горькая улыбка, и все лицо выражало такую покорность, что на него было больно смотреть. Некая скрытая гениальность сверкала в глубине этих глаз, затуманенных, быть может, усталостью от наслаждений. Не разгул ли отметил нечистым своим клеймом это благородное лицо, прежде чистое и сияющее, а теперь уже помятое? Доктора, вероятно, приписали бы этот лихорадочный румянец и темные круги под глазами пороку сердца или грудной болезни, тогда как поэты пожелали бы увидеть в этих знаках приметы самозабвенного служения науке, следы бессонных ночей, проведенных при свете рабочей лампы. Но страсть более смертоносная, чем болезнь, и болезнь более безжалостная, чем умственный труд и гениальность, искажали черты этого молодого лица, сокращали эти

подвижные мускулы, утомляли сердце, которого едва лишь коснулись оргии, труд и болезнь. Когда на каторге появляется знаменитый преступник, заключенные встречают его почтительно, – так и в этом притоне демоны в образе человеческого, испытанные в страданиях, приветствовали неслыханную скорбь, глубокую рану, которую измерял их взор, и по величию молчаливой иронии незнакомца, по нищенской изысканности его одежды признали в нем одного из своих владык. На молодом человеке был отличный фрак, но галстук слишком вплотную прилегал к жилету, так что едва ли под ним имелось белье. Его руки, изящные, как у женщины, были сомнительной чистоты, – ведь он уже два дня ходил без перчаток. Если банкомет и даже лакеи вздрогнули, так это оттого, что очарование невинности еще цвело в хрупком и стройном его теле, в волосах, белокурых и редких, вьющихся от природы. Судя по чертам лица, ему было лет двадцать пять, а порочность его казалась случайной. Свежесть юности еще сопротивлялась опустошениям неутоленного сладострастия. Во всем его существе боролись мрак и свет, небытие и жизнь, и, может быть, именно поэтому он производил впечатление чего-то обаятельного и вместе с тем ужасного. Молодой человек появился здесь, словно ангел, лишенный сияния, сбившийся с пути. И все эти заслуженные наставники в порочных и позорных страстях почувствовали к нему сострадание – подобно беззубой старухе, проникшейся жалостью к красавице девушке, которая вступила на путь разврата, – и готовы были крикнуть новичку: «Уйдите отсюда!» А он прошел прямо к столу, остановился, не задумываясь бросил на сукно золотую монету, и она покатила на черное; потом, как все сильные люди, презирающие скряжническую нерешительность, он взглянул на банкомета вызывающе и вместе с тем спокойно. Ход этот возбудил такой интерес, что старики ставки не сделали; однако итальянец с фанатизмом страсти ухватился за увлекавшую его мысль и поставил все свое золото против ставки незнакомца. Кассир забыл произнести обычные фразы, которые с течением времени превратились у него в хриплый и невнятный крик: «Ставьте!» – «Ставка принята!» – «Больше не принимаю!» Банкомет снял карты, и, казалось, даже он, автомат, безучастный к проигрышу и выигрышу, устроитель этих мрачных увеселений, желал новичку успеха. Зрители все как один готовы были видеть развязку драмы в судьбе этой золотой монеты, последнюю сцену благородной жизни; их глаза, прикованные к роковым листкам картона, горели, но, несмотря на все внимание, с которым они следили то за молодым человеком, то за картами, они не могли заметить и признака волнения на его холодном и покорном лице.

– Красная, черная, пас, – официальным тоном объявил банкомет.

Что-то вроде глухого хрипа вырвалось из груди итальянца, когда он увидел, как один за другим падают на сукно сложенные банковые билеты, которые ему бросал кассир. А молодой человек только тогда постиг свою гибель, когда лопаточка протянулась за его последним наполеондором. Слоновая кость тихо стукнулась о монету, и золотой с быстротою стрелы докатился до кучки золота, лежавшего перед кассой. Незнакомец медленно опустил веки, губы его побелели, но он тут же открыл глаза снова; точно кораллы, заалели его губы, он стал похож на англичанина, для которого в жизни не существует тайн, и исчез, не пожелав вымалить себе сочувствие тем душераздирающим взглядом, который часто бросают на зрителей игроки, впавшие в отчаяние. Сколько событий произошло на протяжении одной секунды, и как много значит один удар игральных костей!

– Это был, конечно, последний его заряд, – сказал, улыбнувшись, крупье после минутного молчания и, держа золотую монету двумя пальцами, показал ее присутствующим.

– Шальная голова! Он, чего доброго, бросится в реку, – отозвался один из завсегдатаев, оглядев игроков, которые все были знакомы между собой.

– Да уж! – воскликнул лакей, беря щепотку табаку.

– Вот нам бы последовать примеру этого господина! – сказал старик своим товарищам, показывая на итальянца.

Все оглянулись на счастливого игрока, который дрожащими руками пересчитывал банковые билеты.

– Какой-то голос, – сказал он, – шептал мне на ухо: «Расчетливая игра одержит верх над отчаянием молодого человека».

– Разве это игрок? – вставил кассир. – Игрок разделит бы свои деньги на три ставки, чтобы увеличить шансы.

Проигравшийся незнакомец, уходя, позабыл о шляпе, но старый сторожевой пес, заметивший жалкое ее состояние, молча подал ему это отрепье; молодой человек машинально возвратил номерок и спустился по лестнице, насвистывая «Di tanti palpiti»<sup>[1]</sup> - «Что за трепет» (ит.).] так тихо, что сам едва мог слышать

эту чудесную мелодию.

Вскоре он очутился под аркадами Пале-Рояля, прошел до улицы Сент-Оноре и, свернув в сад Тюильри, нерешительным шагом пересек его. Он шел точно в пустыне; его толкали встречные, но он их не видел; сквозь уличный шум он слышал один только голос – голос смерти; он оцепенел, погружившись в раздумье, похожее на то, в какое впадают преступники, когда их везут от Дворца правосудия на Гревскую площадь, к эшафоту, красному от крови, что лилась на него с 1793 года.

Есть что-то великое и ужасное в самоубийстве. Для большинства людей падение не страшно, как для детей, которые падают с такой малой высоты, что не ушибаются, но когда разбился великий человек, то это значит, что он упал с большой высоты, что он поднялся до небес и узрел некий недоступный рай. Беспощадными должны быть те ураганы, что заставляют просить душевного покоя у пистолетного дула. Сколько молодых талантов, загнанных в мансарду, затерянных среди миллиона живых существ, чахнет и гибнет перед лицом скучающей, уставшей от золота толпы, потому что нет у них друга, нет близ них женщины-утешительницы! Стоит только над этим призадуматься – и самоубийство предстанет перед нами во всем своем гигантском значении. Один Бог знает, сколько замыслов, сколько недописанных поэтических произведений, сколько отчаяния и сдавленных криков, бесплодных попыток и недоношенных шедевров теснится между самовольною смертью и животворной надеждой, когда-то призвавшей молодого человека в Париж. Всякое самоубийство – это возвышенная поэма меланхолии. Всплывет ли в океане литературы книга, которая по своей волнующей силе могла бы соперничать с такою газетной заметкой: «Вчера, в четыре часа дня, молодая женщина бросилась в Сену с моста Искусств»?

Перед этим парижским лаконизмом все бледнеет – драмы, романы, даже старинное заглавие: «Плач славного короля Карнавандского, заточенного в темницу своими детьми», – единственный фрагмент затерянной книги, над которым плакал Стерн, сам бросивший жену и детей...

Незнакомца осаждали тысячи подобных мыслей, обрывками проносясь в его голове, подобно тому, как разорванные знамена развеваются во время битвы. На краткий миг он сбрасывал с себя бремя дум и воспоминаний, останавливаясь перед цветами, головки которых слабо колыхал среди зелени ветер; затем, ощутив в себе трепет жизни, все еще борющейся с тягостною мыслью о

самоубийстве, он поднимал глаза к небу, но нависшие серые тучи, тоскливые завывания ветра и промозглая осенняя сырость внушали ему желание умереть. Он подошел к Королевскому мосту, думая о последних прихотях своих предшественников. Он улыбнулся, вспомнив, что лорд Каслри, прежде чем перерезать себе горло, удовлетворил низменнейшую из наших потребностей и что академик Оже, идя на смерть, стал искать табакерку, чтобы взять понюшку. Он пытался разобраться в этих странностях, вопрошал сам себя, как вдруг, прижавшись к парапету моста, чтобы дать дорогу рыночному носильщику, который все же запачкал рукав его фрака чем-то белым, он сам себя поймал на том, что тщательно стряхивает пыль. Дойдя до середины моста, он мрачно посмотрел на воду.

– Не такая погода, чтобы топиться, – с усмешкой сказала ему одетая в лохмотья старуха. – Сена грязная, холодная!..

Он ответил ей простодушной улыбкой, выражавшей всю безумную его решимость, но внезапно вздрогнул, увидав вдали, на Тюильрийской пристани, барак с вывеской, на которой огромными буквами было написано: спасение утопающих. Перед мысленным его взором вдруг предстал г-н Даше во всеоружии своей филантропии, приводя в движение добродетельные весла, коими разбивают головы утопленникам, если они на свою беду покажутся из воды; он видел, как г-н Даше собирал вокруг себя зевак, выискивал доктора, готовил окуривание; он читал соболезнования, составленные журналистами в промежутках между веселой пирушкой и встречей с улыбочивой танцовщицей; он слышал, как звенят экую, отсчитываемые префектом полиции лодочникам в награду за его труп. Мертвый, он стоит пятьдесят франков, но живой – он всего лишь талантливый человек, у которого нет ни покровителей, ни друзей, ни соломенного тюфяка, ни навеса, чтобы укрыться от дождя, – настоящий социальный нуль, бесполезный государству, которое, впрочем, и не заботилось о нем нисколько. Смерть среди бела дня показалась ему отвратительной, он решил умереть ночью, чтобы оставить обществу, презревшему величие его души, неопознанный труп. И вот с видом беспечного гуляки, которому нужно убить время, он пошел дальше по направлению к набережной Вольтера. Когда он спустился по ступенькам, которыми оканчивается мост, на углу набережной его внимание привлекли старые книги, разложенные на парапете, и он чуть было не приценился к ним. Но тут же посмеялся над собой, философически засунул руки в жилетные карманы и снова двинулся беззаботной своей походкой, в которой чувствовалось холодное презрение, – как вдруг с изумлением услышал поистине фантастическое звяканье монет у себя в кармане. Улыбка надежды озарила его лицо, скользнув по губам, она облетела

все его черты, его лоб, зажгла радостью глаза и потемневшие щеки. Этот проблеск счастья был похож на огоньки, которые пробегают по остаткам сгоревшей бумаги; но его лицо постигла судьба черного пепла – оно опять стало печальным, как только он, быстро вытащив руку из кармана, увидел три монеты по два су.

– Добрый господин, *la carita! la carita! Catarina!* [2 - Подайте милостыню! Ради святой Екатерины! (ит.)] Хоть одно су на хлеб!

Мальчишка-трубочист с черным одутловатым лицом, весь в саже, одетый в лохмотья, протянул руку к этому человеку, чтобы выпросить у него последний грош.

Стоявший в двух шагах от маленького савойяра старый нищий, робкий, болезненный, исстрадавшийся, в жалком тряпье, сказал грубым и глухим голосом:

– Сударь, подайте сколько можете, буду за вас Бога молить...

Но когда молодой человек взглянул на старика, тот замолчал и больше уже не просил, – быть может, на мертвенном этом лице он заметил признаки нужды более острой, чем его собственная.

– *La carita! la carita!*

Незнакомец бросил мелочь мальчишке и старику и сошел с тротуара набережной, чтобы продолжать путь вдоль домов, – он больше не мог выносить душераздирающего вида Сены.

– Дай вам Бог здоровья, – сказали оба нищих.

Подходя к магазину эстампов, этот полумертвец увидел, как из роскошного экипажа выходит молодая женщина. Он залюбовался очаровательной особой, беленькое личико которой красиво окаймлял атлас нарядной шляпы. Его пленили стройный ее стан, грациозные движения. Спускаясь с подножки, она слегка приподняла платье, и видна была ее нога, тонкие контуры которой отлично обрисовывал белый, туго натянутый чулок. Молодая женщина вошла в

магазин и занялась покупкой альбомов, коллекций литографий; она заплатила несколько золотых, они блеснули и звякнули на конторке. Молодой человек, прикинувшись, что рассматривает выставленные у входа гравюры, устремил на прекрасную незнакомку самый пронизывающий взгляд, какой только способен бросить мужчина, и ответом ему был тот беззаботный взор, которым случайно окидывают прохожих. С его стороны то было прощание с любовью, с женщиной! Но этот последний, страстный призыв не был понят, не взволновал сердца легкомысленной женщины, не заставил ее ни покраснеть, ни опустить глаза. Что он для нее значит? Еще один восхищенный взгляд, еще одно возбужденное ею желание, и вечером она самодовольно скажет: «Сегодня я была премиленькая». Молодой человек отошел к другому окну и не обернулся, когда незнакомка садилась в экипаж. Лошади тронули, и этот последний образ роскоши и изящества померк, как должна была померкнуть и его жизнь. Он пошел вялой походкой вдоль магазинов, без особого интереса рассматривая образцы товаров в витринах. Когда кончились лавки, он стал разглядывать Лувр, Академию, башни Собора Богоматери, башни Дворца правосудия, мост Искусств. Все эти сооружения, казалось, принимали унылый вид, отражая серые тона неба, бледные просветы между туч, которые придавали какой-то гневный облик Парижу, подверженному, подобно хорошенькой женщине, необъяснимо капризным сменам уродства и красоты. Сама природа как будто задумала привести умирающего в состояние скорбного экстаза. Весь во власти тлетворной силы, чье расслабляющее действие находит себе посредника во флюидах, пробегающих по нашим нервам, он чувствовал, что его организм неприметно становится как бы текучим. Муки этой агонии сообщили всему волнообразное движение: людей, здания он видел сквозь туман, где все колыхалось. Ему хотелось избавиться от раздражающего воздействия мира физического, и он направился к лавке древностей, чтобы дать пищу своим чувствам или хотя бы дожидаться там ночи, прицениваясь к произведениям искусства. Так, идя на эшафот, преступник старается собраться с духом и, не доверяя своим силам, спрашивает чего-нибудь подкрепляющего; однако сознание близкой смерти на мгновение вернуло молодому человеку самоуверенность герцогини, имеющей двух любовников, и он вошел в лавку редкостей с видом независимым, с той застывшей улыбкой на устах, какая бывает у пьяниц. Да и не был ли он пьян от жизни или, быть может, от близкой смерти. Вскоре у него опять началось головокружение, и все вдруг показалось ему окрашенным в странные цвета и одушевленным легким движением. Несомненно, это объяснялось неправильным обращением крови, то бурлившей в его жилах, как водопад, то струившейся спокойно и вяло, как тепловатая вода. Он заявил, что желает осмотреть залы и поискать, не найдется ли там каких-нибудь редкостей на его вкус. Молодой рыжеволосый приказчик, с полными румяными щеками, в картузе из выдры,

поручил присмотреть за лавкой старухе крестьянке, своего рода Калибану женского пола, занятой чисткой изразцовой печи, настоящего чуда искусства, порожденного гением Бернара Палисси; затем он сказал незнакомцу небрежным тоном:

– Взгляните, сударь, взгляните! Внизу у нас только вещи заурядные, но потрудитесь подняться наверх, и я покажу вам прекраснейшие мумии из Каира, вазы с инкрустациями, резное черное дерево – подлинный Ренессанс, все только что получено, высшего качества.

Незнакомец находился в таком ужасном состоянии, что болтовня его чичероне, эти глупо-торгашеские фразы были ему противны, как мелочные приставания, которыми умы ограниченные убивают человека гениального; однако, решив нести свой крест до конца, он делал вид, что слушает проводника, и отвечал ему жестами или односложными словами; но постепенно он отвоевал себе право идти молча и безбоязненно отдался последним своим размышлениям, которые были ужасны. Он был поэтом, и душа его случайно нашла себе обильную пищу: ему предстояло еще при жизни увидеть прах двадцати миров.

На первый взгляд залы магазина являли собой беспорядочную картину, в которой теснились все творения Божеские и человеческие. Чучела крокодилов, боа, обезьян улыбались церковным витражам, как бы порывались укусить мраморные бюсты, погнаться за лакированными вещицами, вскарабкаться на люстры. Севрская ваза, на которой г-жа Жакото изобразила Наполеона, находилась рядом со сфинксом, посвященным Сезострису. Начало мира и вчерашние события сочетались здесь причудливо благодушно. Кухонный вертел лежал на ковчежце для мощей, республиканская сабля – на средневековой пищалях. Г-жа Дюбарри с пастели Латура, со звездой на голове, нагая и окруженная облаками, казалось, с жадным любопытством рассматривала индийский чубук и старалась угадать назначение его спиралей, змеившихся по направлению к ней. Орудия смерти – кинжалы, диковинные пистолеты, оружие с секретным затвором – чередовались с предметами житейского обихода: фарфоровыми мисками, саксонскими тарелками, прозрачными китайскими чашками, античными солонками, средневековыми коробочками для сладостей. Корабль из слоновой кости на всех парусах плыл по спине неподвижной черепахи. Пневматическая машина лезла в самый глаз императору Августу, сохранявшему царственное бесстрашие. Несколько портретов французских купеческих старшин и голландских бургомистров, столь же бесчувственных теперь, как и при жизни, возвышались над этим хаосом древности, бросая на

него тусклые и холодные взгляды. Все страны, казалось, принесли сюда какой-нибудь обломок своих знаний, образчик своих искусств. То было подобие философской мусорной свалки, где ни в чем не было недостатка – ни в трубке мира дикаря, ни в зеленой, с золотом, туфельке из сераля, ни в мавританском ятагане, ни в татарском идоле. Здесь было все, вплоть до солдатского кисета, вплоть до церковной дароносицы, вплоть до плюмажа, некогда украшавшего балдахин какого-то трона. А благодаря множеству причудливых бликов, возникавших из смешения оттенков, из резкого контраста света и тени, эту чудовищную картину оживляли тысячи разнообразнейших световых явлений. Ухо, казалось, слышало прерванные крики, ум улавливал неоконченные драмы, глаз различал не вполне угасшие огни. Вдобавок на все эти предметы набросила свой легкий покров неистребимая пыль, что придавало их углам и разнообразным изгибам необычайно живописный вид.

Эти три залы, где теснились обломки цивилизации и культов, божества, шедевры искусства, памятники былых царств, разгула, здравомыслия и безумия, незнакомец сравнил сперва с многогранным зеркалом, каждая грань которого отображает целый мир. Получив это общее, туманное впечатление, он захотел сосредоточиться на чем-нибудь приятном, но, рассматривая все вокруг, размышляя, мечтая, подпал под власть лихорадки, которую вызвал, быть может, голод, терзавший ему внутренности. Мысли о судьбе целых народов и отдельных личностей, засвидетельствованной пережившими их трудами человеческих рук, погрузили молодого человека в дремотное оцепенение; желание, которое привело его в эту лавку, исполнилось: он нашел выход из реальной жизни, поднялся по ступенькам в мир идеальный, достиг волшебных дворцов экстаза, где вселенная явилась ему в осколках и отблесках, как некогда перед очами апостола Иоанна на Патмосе пронеслось, пылая, грядущее.

Множество образов, страдальческих, грациозных и страшных, темных и сияющих, отдаленных и близких, встало перед ним толпами, мириадами, поколениями. Окостеневший, таинственный Египет поднялся из песков в виде мумии, обвитой черными пеленами, за ней последовали фараоны, погребавшие целые народы, чтобы построить себе гробницу, и Моисей, и евреи, и пустыня, – он прозревал мир древний и торжественный. Свежая и пленительная мраморная статуя на витой колонне, блистая белизной, говорила ему о сладострастных мифах Греции и Ионии. Ах, кто бы на его месте не улыбнулся, увидев на красном фоне глиняной, тонкой лепки, этрусской вазы юную смуглую девушку, пляшущую перед богом Приапом, которого она радостно приветствовала? А рядом латинская царица нежно ласкала химеру! Всеми причудами императорского Рима веяло здесь, вызывая в воображении ванну, ложе, туалет

беспечной, мечтательной Юлии, ожидающей своего Тибулла. Голова Цицерона, обладавшая силой арабских талисманов, приводила на память свободный Рим и раскрывала перед молодым пришельцем страницы Тита Ливия. Он созерцал «Senatus populusque romanus» [3 - Римский сенат и народ (лат.)]; консул, ликторы, тоги, окаймленные пурпуром, борьба на форуме, разгневанный народ – все мелькало перед ним как туманные видения сна. Наконец Рим христианский одержал верх над этими образами. Живопись отверзла небеса, и он узрел Деву Марию, парящую в золотом облаке среди ангелов, затмевающую свет солнца; она, эта возрожденная Ева, выслушивала жалобы несчастных и кротко им улыбалась. Когда он коснулся мозаики, сложенной из кусочков лавы Везувия и Этны, его душа перенеслась в жаркую и золотистую Италию; он присутствовал на оргиях Борджиа, скитался по Аbruццким горам, жаждал любви итальянок, проникался страстью к бледным лицам с удлинёнными черными глазами. При виде средневекового кинжала с узорной рукоятью, которая была изящна, как кружево, и покрыта ржавчиной, похожей на следы крови, он с трепетом угадывал развязку ночного приключения, прерванного холодным клинком мужа. Индия, с ее религиями, оживала в буддийском идоле, одетом в золото и шелк, с остроконечным головным убором, состоявшим из ромбов и украшенным колокольчиками. Возле этого божка была разостлана циновка, все еще пахнувшая сандалом, красивая, как та баядерка, что некогда возлежала на ней. Китайское чудовище с раскосыми глазами, искривленным ртом и неестественно изогнутым телом волновало душу зрителя фантастическими вымыслами народа, который, устав от красоты, всегда единой, находит несказанное удовольствие в многообразии безобразного. При виде солонки, вышедшей из мастерской Бенвенуто Челлини, он перенесся в прославленные века Ренессанса, когда процветали искусства и распущенность, когда государи развлекались пытками, когда указы, предписывавшие целомудрие простым священникам, исходили от князей церкви, покоившихся в объятиях куртизанок. Камея привела его на память победы Александра, аркебуза с фитилем – бойни Писарро, а наверхие шлема – религиозные войны, неистовые, кипучие, жестокие. Потом радостные образы рыцарских времен ключом забили из миланских доспехов с превосходной насечкой и полировкой, а сквозь забрало все еще блестели глаза паладина.

Вокруг был целый океан вещей, измышлений, мод, творений искусства, руин, слагавший для него бесконечную поэму. Формы, краски, мысли – все оживало здесь, но ничего законченного душе не открывалось. Поэт должен был завершить набросок великого живописца, который приготовил огромную палитру и со щедрой небрежностью смешал на ней неисчислимы случайности человеческой жизни. Овладев целым миром, закончив обозрение стран, веков, царств, молодой человек вернулся к индивидуумам. Он стал перевоплощаться в

них, овладевал частностями, обособляясь от жизни наций, которая подавляет нас своей огромностью.

Вон там дремал восковой ребенок, уцелевший от музея Руйша, и это прелестное создание напомнило ему о радостях юных лет. Когда он смотрел на волшебный девичий передник какой-то таитянки, пылкое его воображение рисовало ему картины простой, естественной жизни, чистую наготу истинного целомудрия, наслаждения лени, столь свойственной человеку, безмятежное существование на берегу прохладного задумчивого ручья, под банановым деревом, которое даром кормит человека сладкой своей манной. Но внезапно, вдохновленный перламутровыми отливами бесчисленного множества раковин, воодушевленный видом звездчатых кораллов, еще пахнувших морской травой, водорослями и атлантическими бурями, он становился корсаром и облакался в грозную поэзию, запечатленную образом Лары. Затем, восхищаясь изящными миниатюрами, лазоревыми и золотыми арабесками, которыми был разукрашен драгоценный рукописный требник, он забывал про морские бури. Ласково убаюкиваемый мирными размышлениями, он стремился вернуться к умственному труду, к науке, мечтал о сытой монашеской жизни, беспечальной и безрадостной, ложился спать в келье и глядел в стрельчатое ее окно на монастырские луга, леса и виноградники. Перед полотном Тенирса он накидывал на себя солдатский кафтан или же лохмотья рабочего; ему хотелось надеть на голову засаленный и прокуренный колпак фламандцев, он хмелел от выпитого пива, играл с ними в карты и улыбался румяной, соблазнительно дебелий крестьянке. Он дрожал от стужи, видя, как падает снег на картине Мьериса, и сражался, глядя на битву Сальватора Розы. Он любовался иллинойсским томагавком и чувствовал, как ирокезский нож сдирает с него скальп. Увидев чудесную лютню, он вручал ее владелице замка, упивался сладкозвучным романсом, объяснялся прекрасной даме в любви у готического камина, и вечерние сумерки скрывали ее ответный взгляд. Он ловил все радости, постигал все скорби, овладевал всеми формулами бытия и столь щедро расточал свою жизнь и чувства перед этими призраками природы, перед этими пустыми образами, что стук собственных шагов отдавался в его душе, точно отзвук другого, далекого, мира, подобно тому, как шум Парижа доносится на башни Собора Богородицы.

Поднимаясь по внутренней лестнице, которая вела в залы второго этажа, он заметил, что на каждой ступеньке стоят или висят на стене вотивные щиты, доспехи, оружие, дарохранительницы, украшенные скульптурой, деревянные статуи. Преследуемый самыми странными фигурами, чудесными созданиями, возникшими перед ним на грани смерти и жизни, он шел среди очарований грезы. Усомнившись наконец в собственном своем существовании, он сам

уподобился этим диковинным предметам, как будто став не вполне умершим и не вполне живым. Когда он вошел в новые залы, начинало смеркаться, но казалось, что свет и не нужен для сверкающих золотом и серебром сокровищ, сваленных там грудями. Самые дорогие причуды расточителей, промотавших миллионы и умерших в мансардах, были представлены на этом обширном торжище человеческих безумств. Чернильница, которая обошлась в сто тысяч франков, а потом была продана за сто су, лежала возле замка с секретом, стоимости которого было бы некогда достаточно для выкупа короля из плена. Род человеческий являлся здесь во всей пышности своей нищеты, во всей славе своей гигантской мелочности. Стол черного дерева, достойный поклонения художника, резанный по рисункам Жана Гужона, стоивший когда-то нескольких лет работы, был, возможно, приобретен по цене осинового дров. Драгоценные шкатулки, мебель, сделанная руками фей, – все набито было сюда как попало.

– Да у вас тут миллионы! – воскликнул молодой человек, дойдя до комнаты, завершавшей длинную анфиладу зал, которые художники минувшего века разукрасили золотом и скульптурами.

– Вернее – миллиарды, – заметил таинственный приказчик. – Но это еще что, поднимитесь на четвертый этаж, вот там вы увидите!

Незнакомец последовал за своим проводником, достиг четвертой галереи, и там перед его усталыми глазами поочередно прошли картины Пуссена, изумительная статуя Микеланджело, прелестные пейзажи Клода Лоррена, картина Герарда Доу, подобная странице Стерна, полотна Рембрандта, Мурильо, Веласкеса, мрачные и яркие, как поэма Байрона; далее – античные барельефы, агатовые чаши, великолепные ониксы... Словом, то были работы, способные внушить отвращение к труду, нагромождение шедевров, могущее возбудить ненависть к искусствам и убить энтузиазм. Он дошел до «Девы» Рафаэля, но Рафаэль ему надоел. Голова кисти Корреджо, просившая внимания, так и не добила его. Бесценная античная ваза из порфира, рельефы которой изображали самую причудливую в своей вольности римскую приапею, отрада какой-нибудь Коринны, не вызвала у него ничего, кроме беглой улыбки. Он задыхался под обломками пятидесяти исчезнувших веков, чувствовал себя больным от всех этих человеческих мыслей; он был истерзан роскошью и искусствами, подавлен этими воскресающими формами, которые, как некие чудовища, возникающие у него под ногами по воле злого гения, вызывали его на нескончаемый поединок.

Похожая своими прихотями на современную химию, которая сводит все существующее к газу, не вырабатывает ли человеческая душа ужасные яды, мгновенно сосредоточивая в себе все свои радости, идеи и силы? И не оттого ли гибнет множество людей, что их убивают своего рода духовные кислоты, внезапно отравляющие все их существо?

– Что в этом ящике? – спросил молодой человек, войдя в просторный кабинет – последнее скопище боевой славы, человеческих усилий, причуд, богатств, – и указал рукой на большой четырехугольный ящик красного дерева, подвешенный на серебряной цепи.

– О, ключ от него у хозяина! – с таинственным видом сказал толстый приказчик. – Если вам угодно видеть эту картину, я осмелюсь побеспокоить хозяина.

– Осмелитесь?! – удивился молодой человек. – Разве ваш хозяин какой-нибудь князь?

– Да я, право, не знаю, – отвечал приказчик.

Минуту смотрели они друг на друга, оба удивленные в равной мере. Затем, сочтя молчание незнакомца за пожелание, приказчик оставил его одного в кабинете.

Пускались ли вы когда-нибудь в бесконечность пространства и времени, читая геологические сочинения Кювье? Уносимые его гением, парили ли вы над бездонной пропастью минувшего, точно поддерживаемые рукой волшебника? Когда в различных разрезах и различных слоях, в монмартрских каменоломнях и в уральском сланце, обнаруживаются ископаемые, чьи останки относятся ко временам допотопным, душа испытывает страх, ибо перед ней приоткрываются миллиарды лет, миллионы народов, не только исчезнувших из слабой памяти человечества, но забытых даже нерушимым божественным преданием, и лишь прах минувшего, скопившийся на поверхности земного шара, образует почву в два фута глубиной, дающую нам цветы и хлеб. Разве Кювье не величайший поэт нашего века? Лорд Байрон словами воспроизвел волнения души, но бессмертный наш естествоиспытатель воссоздал миры при помощи выбеленных временем костей; подобно Кадму, он отстроил города при помощи зубов, он вновь населил тысячи лесов всеми чудищами зоологии благодаря нескольким кускам каменного угля; восстановил поколения гигантов по одной лишь ноге мамонта. Образы встают, растут и в соответствии с исполинским своим ростом меняют вид

целых областей. В своих цифрах он поэт; он великолепен, когда к семи приставляет нуль. Не произнося искусственных магических слов, он воскрешает небытие; он откапывает частицу гипса, замечает на ней отпечаток и восклицает: «Смотрите!» Мрамор становится вдруг животным, смерть – жизнью, открывается целый мир! После неисчислимых династий гигантских созданий, после рыбьих племен и моллюсковых кланов появляется наконец род человеческий, выродок грандиозного типа, сраженного, быть может, Создателем. Воодушевленные мыслью ученого, перед которым воскресает прошлое, эти жалкие люди, рожденные вчера, могут проникнуть в хаос, запеть бесконечный гимн и начертать себе былые судьбы вселенной в виде вспять обращенного Апокалипсиса. Созерцая это жуткое воскрешение, совершаемое голосом одного-единственного человека, мы проникаемся жалостью к той крохе, которая нам предоставлена в безыменной бесконечности, общей всем сферам, проникаемся жалостью к этой минуте жизни, которую мы именуем время. Как бы погребенные под обломками стольких вселенных, мы вопрошаем себя: к чему наша слава, наша ненависть, наша любовь? Если нам суждено стать в будущем неосязаемой точкой, стоит ли принимать на себя бремя бытия? И вот, вырванные из почвы нашего времени, мы перестаем жить, пока не войдет лакей и не скажет: «Графиня приказала передать, что она ждет вас».

При виде чудес, явивших молодому человеку весь ведомый нам мир, душа его изнемогла, как изнемогает душа у философа, когда он занят научным рассмотрением мира неведомого; сильнее, чем когда бы то ни было, хотелось ему теперь умереть, и он упал в курульное кресло, предоставив своим взорам блуждать по фантазмагориям этой панорамы прошлого. Картины озарились, головы дев ему улыбнулись, статуи приняли обманчивую окраску жизни. Втянутые в пляску тою лихорадочною тревогой, которая, точно хмель, бродила в его больном мозгу, эти произведения под покровом тени ожили, зашевелились и вихрем понеслись перед ним; каждый фарфоровый уродец строил ему гримасу, у людей, изображенных на картинах, веки опустились, чтобы дать отдохнуть глазам. Все эти фигуры вздрогнули, вскочили, сошли со своих мест – кто грузно, кто легко, кто грациозно, кто неуклюже, в зависимости от своего нрава, свойства и строения. То был некий таинственный шабаш, достойный тех чудес, что видел доктор Фауст на Брокене. Но эти оптические явления, порожденные усталостью, напряжением взгляда или причудливостью сумерек, не могли утратить незнакомца. Ужасы жизни были не властны над душой, свикшейся с ужасами смерти. Он, скорее, даже поощрял своим насмешливым сочувствием нелепые странности этого нравственного гальванизма, чудеса которого соединились с последними мыслями, еще поддерживавшими в незнакомце ощущение бытия. Вокруг него царил столь глубокое молчание, что вскоре он

осмелился отдаться сладостным мечтам, образы которых постепенно темнели, магически изменяя свои оттенки по мере угасания дня. Свет, покидая небо, зажег в борьбе с ночью последний красноватый отблеск; молодой человек поднял голову и увидел слабо освещенный скелет, который с сомнением качнул своим черепом справа налево, как бы говоря: «Мертвецы тебя еще не ждут». Проведя рукой по лбу, чтобы отогнать сон, молодой человек отчетливо ощутил прохладное дуновение, что-то пушистое коснулось его щеки, и он вздрогнул. Чуть слышным звоном отозвались стекла, и он подумал, что эта холодная, пахнувшая могильными тайнами ласка исходила от летучей мыши. Еще одно мгновение при расплывающихся отблесках заката он неясно различал окружавшие его призраки; затем весь этот натюрморт был поглощен сплошным мраком. Ночь – час, назначенный им для смерти, – наступила внезапно. После этого в течение некоторого времени он совершенно не воспринимал ничего земного – потому ли, что погрузился в глубокое раздумье, потому ли, что на него напала сонливость, вызванная утомлением и роем мыслей, раздиравших ему сердце. Вдруг ему почудилось, что некий грозный голос окликнул его, и он вздрогнул, как если бы среди горячечного кошмара его бросили в пропасть. Он закрыл глаза – лучи яркого света ослепляли его; он видел, как где-то во мраке загорелся красноватый круг, в центре которого находился какой-то старичок, стоявший с лампою в руке и направлявший на него свет. Не слышно было, как он вошел; он молчал и не двигался. В его появлении было нечто магическое. Даже самый бесстрашный человек, и тот, наверное, вздрогнул бы со сна при виде этого старичка, вышедшего, казалось, из соседнего саркофага. Необычайный молодой блеск, оживлявший неподвижные глаза у этого подобия призрака, исключал мысль о каком-нибудь сверхъестественном явлении; все же в тот краткий промежуток, что отделил сомнамбулическую жизнь от жизни реальной, наш незнакомец оставался в состоянии философского сомнения, предписываемого Декартом, и помимо воли подпал под власть неизъяснимых галлюцинаций, тайны которых либо отвергает наша гордыня, либо тщетно изучает беспомощная наша наука. Представьте себе сухонького, худенького старичка, облаченного в черный бархатный халат, перехваченный толстым шелковым шнуром. На голове у него была бархатная ермолка, тоже черная, из-под которой с обеих сторон выбивались длинные седые пряди; она облегла череп, резкой линией окаймляя лоб. Халат окутывал тело наподобие просторного савана – видно было только лицо, узкое и бледное. Если бы не костлявая, похожая на палку, обернутую в материю, рука, которую старик вытянул, направляя на молодого человека весь свет лампы, можно было бы подумать, что это лицо повисло в воздухе. Борода с проседью, подстриженная клинышком, скрывала подбородок этого странного существа, придавая ему сходство с теми еврейскими головами, которыми как натурой пользуются

художники, когда хотят изобразить Моисея. Губы были столь бесцветны, столь тонки, что лишь при особом внимании можно было различить линию рта на его белом лице. Высокий морщинистый лоб, щеки, поблекшие и впалые, неумолимая строгость маленьких зеленых глаз, лишенных бровей и ресниц, – все это могло внушить незнакомцу мысль, что вышел из рамы Взвешиватель золота, созданный Герардом Доу. Коварство инквизитора, избличаемое морщинами, которые бороздили его щеки и лучами расходились у глаз, свидетельствовало о глубоком знании жизни. Казалось, человек этот обладает даром угадывать мысли самых скрытных людей и обмануть его невозможно. Знакомство с нравами всех народов земного шара и вся их мудрость сосредоточивались в его холодной душе, подобно тому, как произведениями целого мира были завалены пыльные залы его лавки. Вы прочли бы на его лице ясное спокойствие всевидящего Бога или же горделивую мощь все видевшего человека. Живописец, придав ему соответствующее выражение двумя взмахами кисти, мог бы обратить это лицо в прекрасный образ предвечного отца или же в глумливую маску Мефистофеля, ибо на его лбу запечатлелась возвышенная мощь, а на устах – зловещая насмешка. Обратив в прах при помощи своей огромной власти все муки человеческие, он, по-видимому, убил и земные радости. Умиравший вздрогнул, почувствовав, что этот старый гений обитает в сферах, чуждых миру, и живет там один, не радуясь, ибо у него нет больше иллюзий, не скорбя, ибо он уже не ведает наслаждений. Старик стоял неподвижный, непоколебимый, как звезда, окруженная светлой мглой. Его зеленые глаза, исполненные какого-то спокойного лукавства, казалось, освещали мир душевный, так же как его лампа светила в этом таинственном кабинете.

Таково было странное зрелище, захватившее врасплох молодого человека, – убаюканного было мыслями о смерти и причудливыми образами, – в тот момент, когда он открыл глаза. Если он был ошеломлен, если он поверил в этот призрак не рассуждая, как ребенок нянькиным сказкам, то это заблуждение следует приписать тому покрову, который простерли над его жизнью и рассудком мрачные мысли, раздражение взбудораженных нервов, жестокая драма, сцены которой только что доставили ему мучительное наслаждение, сходное с тем, какое заключено в опиуме. Это видение было ему в Париже, на набережной Вольтера, в XIX веке – в таком месте и в такое время, когда магия невозможна. Находясь по соседству с тем домом, где скончался бог французского неверия, будучи учеником Гей-Люссака и Араго, презирая все фокусы, проделываемые людьми, стоящими у власти, незнакомец, очевидно, поддавался обаянию поэзии, которому все мы часто поддаемся, как бы для того, чтобы избежать горьких истин, приводящих в отчаяние, и бросить вызов всемогуществу Божию. Итак, волнуемый необъяснимыми предчувствиями какой-то необычайной власти, он

вздрагнул при виде этого света, при виде этого старика; волнение его было похоже на то, какое мы все испытывали перед Наполеоном, какое мы вообще испытываем в присутствии великого человека, блистающего гением и облеченного славой.

– Вам угодно видеть изображение Иисуса Христа кисти Рафаэля? – учтиво спросил его старик; в звучности его внятного, отчетливого голоса было нечто металлическое.

Он поставил лампу на обломок колонны так, что темный ящик был освещен со всех сторон.

Стоило купцу произнести священные имена Иисуса Христа и Рафаэля, как молодой человек всем своим видом невольно выразил любопытство, чего старик, без сомнения, и ожидал, потому что он тотчас же надавил пружину. Вслед за тем створка красного дерева бесшумно скользнула в выемку, открыв полотно восхищенным взорам незнакомца. При виде этого бессмертного творения он забыл все диковины лавки, капризы своего сна, вновь стал человеком, признал в старике земное существо, вполне живое, несколько не фантастическое, вновь стал жить в мире реальном. Благостная нежность, тихая ясность божественного лика тотчас же подействовали на него. Некое благоухание пролилось с небес, рассеивая те адские муки, которые жгли его до мозга костей. Голова Спасителя, казалось, выступала из мрака, переданного черным фоном; ореол лучей сиял вокруг его волос, от которых как будто и исходил этот свет; его чело, каждая черточка его лица исполнены были красноречивой убедительности, изливавшейся потоками. Алые губы как будто только что произнесли слово жизни, и зритель искал его отзвука в воздухе, допытываясь его священного смысла, вслушивался в тишину, вопрошал о нем грядущее, обретал его в уроках минувшего. Евангелие передавалось спокойной простотой божественных очей, в которых искали себе прибежища смятенные души. Словом, всю католическую религию можно было прочесть в кроткой и прекрасной улыбке, выражавшей, казалось, то изречение, к которому она, эта религия, сводится: «Любите друг друга!» Картина вдохновляла на молитву, учила прощению, заглушала себялюбие, пробуждала все уснувшие добродетели. Обладая преимуществами, свойственными очарованию музыки, это произведение Рафаэля подчиняло вас властным чарам воспоминаний, и торжество было полным – о художнике вы забывали. Впечатление этого чуда еще усиливалось очарованием света: мгновениями казалось, что голова движется вдаль, среди облака.

– Я дал за это полотно столько золотых монет, сколько на нем уместилось, – холодно сказал торговец.

– Ну что ж, значит – смерть! – воскликнул молодой человек, пробуждаясь от мечтаний. Слова старика вернули его к роковому жребию, и путем неуволимых выводов он спустился с высот последней надежды, за которую было ухватился.

– Ага! Недаром ты мне показался подозрительным, – проговорил старик, схватив обе руки молодого человека и, как в тисках, сжимая ему запястья одной рукой.

Незнакомец печально улыбнулся этому недоразумению и сказал кротким голосом:

– Не бойтесь, речь идет о моей смерти, а не о вашей... Почему бы мне не сознаться в невинном обмане? – продолжал он, взглянув на обеспокоенного старика. – До наступления ночи, когда я могу утопиться, не привлекая внимания толпы, я пришел взглянуть на ваши богатства. Кто не простил бы этого последнего наслаждения ученому и поэту?

Недоверчиво слушая мнимого покупателя, торговец окинул пронзительным взглядом его угрюмое лицо. Успокоенный искренним тоном его печальных речей или, быть может, прочитав в его поблекших чертах зловещие знаки его участи, при виде которых незадолго перед тем вздрогнули игроки, он отпустил его руки; однако подозрительность, свидетельствовавшая о житейском опыте, по меньшей мере столетнем, не совсем его оставила: небрежно протянув руку к поставцу, как будто только для того, чтобы на него опереться, он вынул оттуда стилет и сказал:

– Вы, вероятно, года три служите сверх штата в казначействе и все еще не на жалованье?

Незнакомец не мог удержаться от улыбки и отрицательно покачал головой.

– Ваш отец чересчур грубо попрекал вас тем, что вы появились на свет? А может быть, вы потеряли честь?

– Если бы я согласен был потерять честь, я бы не расставался с жизнью.

– Вас освистали в театре Фюнамбюль? Вы принуждены сочинять куплеты, чтобы заплатить за похороны вашей любовницы? А может быть, вас томит неутоленная страсть к золоту? Или вы желаете победить скуку? Словом, какое заблуждение толкает вас на смерть?

– Не ищите объяснений среди тех будничных причин, которыми объясняется большинство самоубийств. Чтобы избавить себя от обязанности открывать вам неслыханные мучения, которые трудно передать словами, скажу лишь, что я впал в глубочайшую, гнуснейшую, унижительную нищету. Я не собираюсь вымалывать ни помощи, ни утешений, – добавил он с дикой гордостью, противоречившей его предшествующим словам.

– Хе-хе! – Эти два слога, произнесенные стариком вместо ответа, напоминали звук трещотки. Затем он продолжал: – Не принуждая вас взывать ко мне, не заставляя вас краснеть, не подавая вам ни французского сантимата, ни левантского парата, ни сицилийского тарена, ни немецкого геллера, ни русской копейки, ни шотландского фартинга, ни единого сестерция и обола мира древнего, ни единого пиастра нового мира, не предлагая вам ничего ни золотом, ни серебром, ни медью, ни бумажками, ни билетами, я хочу вас сделать богаче, могущественнее, влиятельнее любого конституционного монарха.

Молодой человек подумал, что перед ним старик, впавший в детство; ошеломленный, он не знал, что ответить.

– Оглянитесь, – сказал торговец и, схватив вдруг лампу, направил ее свет на стену, противоположную той, на которой висела картина. – Посмотрите на эту шагреновую кожу, – добавил он.

Молодой человек вскочил с места и с некоторым удивлением обнаружил над своим креслом висевший на стене лоскут шагрени, не больше лисьей шкурки; по необъяснимой на первый взгляд причине кожа эта среди глубокого мрака, царившего в лавке, испускала лучи, столь блестящие, что можно было принять ее за маленькую комету. Юноша с недоверием приблизился к тому, что выдавалось за талисман, способный предохранить его от несчастий, и рассмеялся в душе. Однако, движимый вполне законным любопытством, он наклонился, чтобы рассмотреть кожу со всех сторон, и открыл естественную причину ее странного блеска. Черная зернистая поверхность шагрени была так тщательно отполирована и отшлифована, прихотливые прожилки на ней были столь чисты и отчетливы, что, подобно фасеткам граната, каждая выпуклость

этой восточной кожи бросала пучок ярких отраженных лучей. Математически точно определив причину этого явления, он изложил ее старику, но тот вместо ответа хитро улыбнулся. Эта улыбка превосходства навела молодого ученого на мысль, что он является жертвой шарлатанства. Он не хотел уносить с собой в могилу лишнюю загадку и, как ребенок, который спешит разгадать секрет своей новой игрушки, быстро перевернул кожу.

– Ага! – воскликнул он. – Тут оттиск печати, которую на Востоке называют Соломоновой.

– Вам она известна? – спросил торговец, два-три раза выпустив из ноздрей воздух и передав этим больше мыслей, чем мог бы высказать самыми выразительными словами.

– Какой простак поверит этой химере? – воскликнул молодой человек, задетый немой и полным ехидного издевательства смехом старика. – Разве вы не знаете, что лишь суеверия Востока приписывают нечто священное мистической форме и лживым знакам этой эмблемы, будто бы наделенной сказочным могуществом? Укорять меня в данном случае в наивности у вас не больше оснований, чем если бы речь шла о сфинксах и грифах, существование которых в мифологическом смысле до некоторой степени допускается.

– Раз вы востоковед, – продолжал старик, – то, может быть, прочтете это изречение?

Он поднес лампу к самому талисману, который, изнанкою кверху, держал молодой человек, и обратил его внимание на знаки, оттиснутые на клеточной ткани этой чудесной кожи так, точно они своим существованием были обязаны тому животному, которое кожа когда-то облекала.

– Должен сознаться, – заметил незнакомец, – я не могу объяснить, каким образом ухитрились так глубоко оттиснуть эти буквы на коже онагра.

И он живо обернулся к столам, заваленным редкостями, как бы ища что-то глазами.

– Что вам нужно? – спросил старик.

– Какой-нибудь инструмент, чтобы надрезать шагреню и выяснить, оттиснуты эти буквы или же вделаны.

Старик подал незнакомцу стилет – тот взял его и попытался надрезать кожу в том месте, где были начертаны буквы; но когда он снял тонкий слой кожи, буквы вновь появились, столь отчетливые и до того похожие на те, которые были оттиснуты на поверхности, что на мгновение ему показалось, будто кожа и не срезана.

– Левантские мастера владеют секретами, известными только им одним, – сказал он, с каким-то беспокойством взглянув на восточное изречение.

– Да, – отозвался старик, – лучше все валить на людей, чем на Бога.

Таинственные слова были расположены в таком порядке:

Что означало:

Обладая мною, ты будешь обладать

всем, но жизнь твоя будет принадлежать

мне. Так угодно Богу. Желай – и желания

твои будут исполнены. Но сораз-

меряй свои желания со своей

жизнью. Она – здесь. При

каждом желании я буду

убывать, как твои дни.

Хочешь владеть мною?

Бери. Бог тебя

услышит.

Да будет

так!

— А вы бегло читаете по-санскритски! – сказал старик. – Верно, побывали в Персии или же в Бенгалии?

– Нет, – отвечал молодой человек, с любопытством ощупывая эту символическую и очень странную кожу, совершенно негибкую, даже несколько напоминавшую металлическую пластинку.

Старый антиквар опять поставил лампу на колонну и бросил на молодого человека взгляд, полный холодной иронии и как бы говоривший: «Вот он уже и не думает умирать!»

– Это шутка? Или тайна? – спросил молодой незнакомец.

Старик покачал головой и серьезным тоном сказал:

– Не знаю, что вам ответить. Грозную силу, даруемую этим талисманом, я предлагал людям более энергичным, нежели вы, но, посмеявшись над загадочным влиянием, какое она должна была бы оказать на их судьбу, никто, однако ж, не захотел рискнуть заключить договор, столь роковым образом

предлагаемый неведомой мне властью. Я с ними согласен, – я усомнился, воздержался и...

– И даже не пробовали? – прервал его молодой человек.

– Пробовать! – воскликнул старик. – Если бы вы стояли на Вандомской колонне, попробовали бы вы броситься вниз? Можно ли остановить течение жизни? Делил ли кто-нибудь смерть на доли? Прежде чем войти в этот кабинет, вы приняли решение покончить с собой, но вдруг вас начинает занимать эта тайна и отвлекает от мысли о смерти. Дитя! Разве любой ваш день не предложит вам загадки, более занимательной, чем эта? Послушайте, что я вам скажу. Я видел распутный двор Регента. Как вы, я был тогда в нищете, я просил милостыню; тем не менее я дожил до ста двух лет и стал миллионером; несчастье одарило меня богатством, невежество научило меня. Сейчас я вам в кратких словах открою великую тайну человеческой жизни. Человек истощает себя безотчетными поступками, – из-за них-то и иссякают источники его бытия. Все формы этих двух причин смерти сводятся к двум глаголам – желать и мочь. Между этими двумя пределами человеческой деятельности находится иная формула, коей обладают мудрецы, и ей обязан я счастьем моим и долголетием. Желать сжигает нас, а мочь — разрушает, но знать дает нашему слабому организму возможность вечно пребывать в спокойном состоянии. Итак, желание, или хотение, во мне мертво, убито мыслью; действие или могущество свелось к удовлетворению требований моего организма. Коротко говоря, я сосредоточил свою жизнь не в сердце, которое может быть разбито, не в ощущениях, которые притупляются, но в мозгу, который не изнашивается и переживает все. Излишества не коснулись ни моей души, ни тела. Меж тем я обзрел весь мир. Нога моя ступала по высочайшим горам Азии и Америки, я изучил все человеческие языки, я жил при всяких правительствах. Я ссужал деньги китайцу, взяв в залог труп его отца, я спал в палатке араба, доверившись его слову, я подписывал контракты во всех европейских столицах и без боязни оставлял свое золото в вигваме дикарей; словом, я добился всего, ибо умел всем пренебречь. Моим единственным честолюбием было – видеть. Видеть – не значит ли это знать?.. А знать, молодой человек, не значит ли это наслаждаться интуитивно? Не значит ли это открывать самую сущность жизни и глубоко проникать в нее? Что остается от материального обладания? Только идея. Судите же, как прекрасна должна быть жизнь человека, который, будучи способен запечатлеть в своей мысли все реальности, переносит источники счастья в свою душу и извлекает из них множество идеальных наслаждений, очистив их от всей земной скверны. Мысль – это ключ ко всем сокровищницам, она одаряет вас всеми радостями скупца, но без его забот. И вот я парил над миром, наслаждения мои всегда были

радостями духовными. Мои пиршества заключались в созерцании морей, народов, лесов, гор. Я все созерцал, но спокойно, не зная усталости; я никогда ничего не желал, я только ожидал. Я прогуливался по вселенной, как по собственному саду. Что люди зовут печалью, любовью, честолюбием, превратностями, огорчениями – все это для меня лишь мысли, превращаемые мною в мечтания; вместо того чтобы их ощущать, я их выражаю, я их истолковываю; вместо того чтобы позволить им пожирать мою жизнь, я драматизирую их, я их развиваю; я забавляюсь ими, как будто это романы, которые я читаю внутренним своим зрением. Я никогда не утомляю своего организма и потому все еще отличаюсь крепким здоровьем. Так как моя душа унаследовала все нерастроченные мною силы, то моя голова богаче моих складов. Вот где, – сказал он, ударяя себя по лбу, – вот где настоящие миллионы! Я провожу свои дни восхитительно: мои глаза умеют видеть былое; я воскрешаю целые страны, картины разных местностей, виды океана, прекрасные образы истории. У меня есть воображаемый сераль, где я обладаю всеми женщинами, которые мне не принадлежали. Часто я снова вижу ваши войны, ваши революции и размышляю о них. О, как же предпочесть лихорадочное, мимолетное восхищение каким-нибудь телом, более или менее цветущим, формами, более или менее округлыми, как же предпочесть крушение всех ваших обманчивых надежд – высокой способности создавать вселенную в своей душе; беспредельному наслаждению двигаться без опутывающих уз времени, без помех пространства; наслаждению – все объять, все видеть, наклониться над краем мира, чтобы вопрошать другие сферы, чтобы внимать Богу? Здесь, – громовым голосом воскликнул он, указывая на шагреневую кожу, – мочь и желать соединены! Вот они, ваши социальные идеи, ваши чрезмерные желания, ваша невоздержанность, ваши радости, которые убивают, ваши скорби, которые заставляют жить слишком напряженной жизнью, – ведь боль, может быть, есть не что иное, как предельное наслаждение. Кто мог бы определить границу, где сладострастие становится болью и где боль остается еще сладострастием? Разве живейшие лучи мира идеального не ласкают взора, меж тем как самый мягкий сумрак мира физического ранит его беспрестанно? Не от знания ли рождается мудрость? И что есть безумие, как не безмерность желания или же могущества?

– Вот я и хочу жить, не зная меры! – сказал незнакомец, хватая шагреневую кожу.

– Берегитесь, молодой человек! – с невероятной живостью воскликнул старик.

– Я посвятил свою жизнь науке и мысли, но они не способны были даже прокормить меня, – отвечал незнакомец. – Я не хочу быть обманутым ни проповедью, достойной Сведенборга, ни вашим восточным амулетом, ни милосердным вашим старанием удержать меня в этом мире, где существование для меня более невозможно. Так вот, – добавил он, судорожно сжимая талисман в руке и глядя на старика, – я хочу царственного, роскошного пира, вакханалии, достойной века, в котором все, говорят, усовершенствовано! Пусть мои собутыльники будут юны, остроумны и свободны от предрассудков, веселы до сумасшествия! Пусть сменяются вина, одно другого крепче, искрометнее, такие, от которых мы будем пьяны три дня! Пусть эта ночь будет украшена пылкими женщинами! Хочу, чтоб исступленный разгул увлек нас на колеснице, запряженной четверкой коней, за пределы мира и сбросил нас на неведомых берегах! Пусть души восходят на небеса или же тонут в грязи, – не знаю, возносятся ли они тогда, или падают, мне это все равно. Итак, я приказываю мрачной этой силе слить для меня все радости воедино. Да, мне нужно заключить все наслаждения земли и неба в одно последнее объятие, а затем умереть. Я желаю античных приапей после пьянства, песен, способных пробудить мертвецов, долгих, бесконечно долгих поцелуев, чтобы звук их пронесся над Парижем, как гул пожара, разбудил бы супругов и внушил бы им жгучий пыл, возвращая молодость всем, даже семидесятилетним!

Тут в ушах молодого безумца, подобно адскому грохоту, раздался смех старика и прервал его столь властно, что он умолк.

– Вы думаете, – сказал торговец, – у меня сейчас расступятся половицы, пропуская роскошно убранные столы и гостей с того света? Нет, нет, безрассудный молодой человек. Вы заключили договор, этим все сказано. Теперь все ваши желания будут исполняться в точности, но за счет вашей жизни. Круг ваших дней, очерченный этой кожей, будет сжиматься соответственно силе и числу ваших желаний, от самого незначительного до самого огромного. Брамин, которому я обязан этим талисманом, объяснил мне некогда, что между судьбою и желанием его владельца установится таинственная связь. Ваше первое желание – желание пошлое, я мог бы его удовлетворить, но позаботиться об этом я предоставляю событиям вашего нового бытия. Ведь, в конце концов, вы хотели умереть? Ну что ж, ваше самоубийство только отсрочено.

Удивленный, почти раздраженный тем, что этот странный старик с его полуфилантропическими намерениями, ясно сказавшимися в этой последней насмешке, продолжал глумиться над ним, незнакомец воскликнул:

– Посмотрим, изменится ли моя судьба, пока я буду переходить набережную! Но если вы не смеетесь над несчастным, то в отместку за столь роковую услугу я желаю, чтобы вы влюбились в танцовщицу! Тогда вы поймете радость разгула и, быть может, расточите все блага, которые вы столь философически сберегали.

Он вышел, так и не услышав тяжкого вздоха старика, миновал все залы и спустился по лестнице в сопровождении толстощекого приказчика, который тщетно пытался посветить ему: незнакомец бежал стремительно, словно вор, застигнутый на месте преступления. Ослепленный каким-то бредом, он даже не заметил невероятной податливости шагреновой кожи, которая стала мягкой, как перчатка, свернулась в его яростно сжимавшихся пальцах и легко поместилась в кармане его фрака, куда он сунул ее почти машинально. Выбежав на улицу, он столкнулся с тремя молодыми людьми, которые шли рука об руку.

– Скотина!

– Дурак!

Таковы были изысканные приветствия, коими они обменялись.

– О! Да это Рафаэль!

– Здорово! А мы тебя искали.

– Как, это вы?

Три эти дружественные фразы последовали за бранью, как только свет фонаря, раскачиваемого ветром, упал на изумленные лица молодых людей.

– Милый друг, – сказал Рафаэлю молодой человек, которого он едва не сбил с ног, – ты пойдешь с нами.

– Куда и зачем?

– Ладно, иди, дорогой я тебе расскажу.

Как ни отбивался Рафаэль, друзья его окружили, подхватили под руки и, втиснув его в веселую свою шеренгу, повлекли к мосту Искусств.

– Дорогой мой, – продолжал его приятель, – мы целую неделю тебя разыскиваем. В твоей почтенной гостинице «Сен-Кантен», на которой, кстати сказать, красуется все та же неизменная вывеска, выведенная красными и черными буквами, что и во времена Жан-Жака Руссо, твоя Леонарда сказала нам, что ты уехал за город. Между тем, право же, мы не были похожи на людей, пришедших по денежным делам, – судебных приставов, заимодавцев, понятых и тому подобное. Ну, так вот! Растиньяк видел тебя вчера вечером в Итальянской опере, мы приободрились и из самолюбия решили непременно установить, не провел ли ты ночь где-нибудь на дереве в Елисейских полях, или не отправился ли в ночлежку, где нищие, заплатив два су, спят, прислонившись к натянутым веревкам, или, может быть, тебе повезло, и ты расположился на биваке в каком-нибудь будуаре. Мы тебя нигде не встретили – ни в списках заключенных в тюрьме Сент-Пелажи, ни среди арестантов Ла-Форс! Подвергнув научному исследованию министерства, Оперу, дома призрения, кофейни, библиотеки, префектуру, бюро журналистов, рестораны, театральные фойе – словом, все имеющиеся в Париже места, хорошие и дурные, мы оплакивали потерю человека, достаточно одаренного, чтобы с равным основанием оказаться при дворе или в тюрьме. Мы уже поговаривали, не канонизировать ли тебя в качестве героя Июльской революции! И, честное слово, мы сожалели о тебе.

Не слушая своих друзей, Рафаэль шел по мосту Искусств и смотрел на Сену, в бурлящих волнах которой отражались огни Парижа. Над этой рекой, куда еще так недавно хотел он броситься, исполнялись предсказания старика – час его смерти по воле рока был отсрочен.

— И мы действительно сожалели о тебе, – продолжал говорить приятель Рафаэля. – Речь идет об одной комбинации, в которую мы включили тебя как человека выдающегося, то есть такого, который умеет не считаться ни с чем. Фокус, состоящий в том, что конституционный орех исчезает из-под королевского кубка, проделывается нынче, милый друг, с большей торжественностью, чем когда бы то ни было. Позорная монархия, свергнутая народным героизмом, была особой дурного поведения, с которой можно было посмеяться и попировать, но супруга, именуемая себя Родиной, сварлива и добродетельна: хочешь не хочешь, принимай размеренные ее ласки. Ведь ты знаешь, власть перешла из Тюильри к журналистам, а бюджет переехал в другой квартал – из Сен-Жерменского предместья на Шоссе д'Антен. Но вот чего

ты, может быть, не знаешь: правительство, то есть банкирская и адвокатская аристократия, сделавшая родину своей специальностью, как некогда священники – монархию, почувствовало необходимость дурачить добрый французский народ новыми словами и старыми идеями, по образцу философов всех школ и ловкачей всех времен. Словом, речь идет о том, чтобы внедрять взгляды королевски-национальные, доказывать, что люди становятся гораздо счастливее, когда платят миллиард двести миллионов и тридцать три сантима родине, имеющей своими представителями господ таких-то и таких-то, чем тогда, когда платят они миллиард сто миллионов и девять сантимов королю, который вместо мы говорит я. Словом, основывается газета, имеющая в своем распоряжении добрых двести – триста тысяч франков, в целях создания оппозиции, способной удовлетворить неудовлетворенных без особого вреда для национального правительства короля-гражданина. И вот, раз мы смеемся и над свободой и над деспотизмом, смеемся над религией и над неверием, и раз отечество для нас – это столица, где идеи обмениваются и продаются по столько-то за строку, где каждый день приносит вкусные обеды и многочисленные зрелища, где кишат продажные распутницы, где ужины заканчиваются утром, где любовь, как извозчицы кареты, отдается напрокат; раз Париж всегда будет самым пленительным из всех отечеств – отечеством радости, свободы, ума, хорошеньких женщин, прохвостов, доброго вина, где жезл правления никогда не будет особенно сильно чувствоваться, потому что мы стоим возле тех, у кого он в руках... мы, истинные приверженцы бога Мефистофеля, подрядились перекрашивать общественное мнение, переодевать актеров, прибавлять новые доски к правительственному балагану, подносить лекарство доктринарам, подвергать старых республиканцев, подновлять бонапартистов, снабжать провиантом центр, но все это при том условии, чтобы нам было позволено смеяться втихомолку над королями и народами, менять по вечерам утреннее свое мнение, вести веселую жизнь на манер Панурга или возлежать *more orientali* [4 - На восточный лад (лат.)] на мягких подушках. Мы решили вручить тебе бразды правления этого макаронического и шутовского царства, а посему ведем тебя прямо на званый обед, к основателю упомянутой газеты, банкиру, почившему от дел, который, не зная, куда ему девать золото, хочет разменять его на остроумие. Ты будешь принят там как брат, мы провозгласим тебя королем вольнодумцев, которые ничего не боятся и прозорливо угадывают намерения Австрии, Англии или России прежде, чем Россия, Англия или Австрия возымеют какие бы то ни было намерения! Да, мы назначаем тебя верховным повелителем тех умственных сил, которые поставляют миру всяких Мирабо, Талейранов, Питтов, Метернихов – словом, всех ловких Криспенов, играющих друг с другом на судьбы государств, как простые смертные играют в домино на рюмку киршвассера. Мы изобразили тебя самым

бесстрашным борцом из всех, кому когда-либо случалось схватиться врукопашную с разгулом, с этим изумительным чудовищем, которое жаждут вызвать на поединок все смелые умы; мы утверждали даже, что ему до сих пор еще не удалось тебя победить. Надеюсь, ты нас не подведешь. Тайфер, наш амфитрион, обещал затмить жалкие сатурналии наших крохотных современных Лукуллов. Он достаточно богат, чтобы придать величие пустякам, изящество и очарование – пороку... Слышишь, Рафаэль? – прерывая свою речь, спросил оратор.

– Да, – отвечал молодой человек, дивившийся не столько исполнению своих желаний, сколько тому, как естественно сплетались события.

Поверить в магическое влияние он не мог, но его изумляли случайности человеческой судьбы.

– Однако ты произносишь «да» весьма уныло, точно думаешь о смерти своего дедушки, – обратился к нему другой его спутник.

– Ах! – вздохнул Рафаэль так простодушно, что эти писатели, надежда молодой Франции, рассмеялись. – Я думал вот о чем, друзья мои: мы на пути к тому, чтобы стать плутами большой руки! До сих пор мы творили беззакония, мы бесчинствовали между двумя выпивками, судили о жизни в пьяном виде, оценивали людей и события, переваривая обед. Невинные на деле, мы были дерзки на слова, но теперь, заклеянные раскаленным железом политики, мы отправляемся на великую каторгу и утратим там наши иллюзии. Ведь и тому, кто верит уже только в дьявола, разрешается оплакивать юношеский рай, время невинности, когда мы набожно открывали рот, дабы добрый священник дал нам вкусить святое тело Христово. Ах, дорогие мои друзья, если нам такое удовольствие доставляли первые наши грехи, так это потому, что у нас еще были угрызения совести, которые украшали их, придавали им остроту и смак, – а теперь...

– О, теперь, – вставил первый собеседник, – нам остается...

– Что? – спросил другой.

– Преступление...

– Вот слово, высокое, как виселица, и глубокое, как Сена, – заметил Рафаэль.

– О, ты меня не понял!.. Я говорю о преступлениях политических. Нынче, с самого утра, я стал завидовать только заговорщикам. Не знаю, доживет ли эта моя фантазия до завтра, но мне просто душу воротит от этой бесцветной жизни в условиях нашей цивилизации – жизни однообразной, как рельсы железной дороги, – меня влекут к себе такие несчастья, как те, что испытали французы, отступавшие от Москвы, тревоги «Красного корсара», жизнь контрабандистов. Раз во Франции нет больше монахов-картезианцев, я жажду по крайней мере Ботани-Бэй, этого своеобразного лазарета для маленьких лордов Байронов, которые, скомкав жизнь, как салфетку после обеда, обнаруживают, что делать им больше нечего, – разве только разжечь пожар в своей стране, пустить себе пулю в лоб, вступить в республиканский заговор или требовать войны...

– Эмиль, – с жаром начал другой спутник Рафаэля, – честное слово, не будь Июльской революции, я сделался бы священником, жил бы животной жизнью где-нибудь в деревенской глуши и...

– И каждый день читал бы требник?

– Да.

– Хвастун!

– Читаем же мы газеты!

– Недурно для журналиста! Но молчи, ведь толпа вокруг нас – это наши подписчики. Журнализм, видишь ли, стал религией современного общества, и тут достигнут прогресс.

– Каким образом?

– Первосвященники нисколько не обязаны верить, да и народ тоже...

Продолжая беседовать, как добрые малые, которые давно уже изучили «De viris illustribus», они подошли к особняку на улице Жубер.

Эмиль был журналист, бездельем стяжавший себе больше славы, нежели другие – удачами. Смелый критик, остроумный и колкий, он обладал всеми достоинствами, какие могли ужиться с его недостатками. Насмешливый и откровенный, он произносил тысячу эпиграмм в глаза другу, а за глаза защищал его бесстрашно и честно. Он смеялся над всем, даже над своим будущим. Вечно сидя без денег, он, как все люди, не лишённые способностей, мог погрязнуть в неопикуемой лени и вдруг бросал одно-единственное слово, стоившее целой книги, на зависть тем господам, у которых в целой книге не было ни одного живого слова. Щедрый на обещания, которых никогда не исполнял, он сделал себе из своей удачи и славы подушку и преспокойно почивал на лаврах, рискуя, таким образом, на старости лет проснуться в богадельне. При всем том за друзей он пошел бы на плаху, похвалялся своим цинизмом, а был простодушен, как дитя, работал же только по вдохновению или из-за куска хлеба.

– Тут и нам перепадет, по выражению мэтра Алькофрибаса, малая толика с пиршественного стола, – сказал он Рафаэлю, указывая на ящики с цветами, которые украшали лестницу своей зеленью и разливали благоухание.

– Люблю, когда прихожая хорошо натоплена и убрана богатыми коврами, – заметил Рафаэль. – Это редкость во Франции. Чувствую, что я здесь возрождаюсь.

– А там, наверху, мы выпьем и посмеемся, бедный мой Рафаэль. И еще как! – продолжал Эмиль. – Надеюсь, мы выйдем победителями над всеми этими головами!

И он насмешливым жестом указал на гостей, входя в залу, блиставшую огнями и позолотой; тотчас же их окружили молодые люди, пользовавшиеся в Париже наибольшей известностью. Об одном из них говорили как о новом таланте, – первая его картина поставила его в один ряд с лучшими живописцами времен Империи. Другой только что отважился выпустить очень яркую книгу, проникнутую своего рода литературным презрением и открывавшую перед современной школой новые пути. Скульптор, суровое лицо которого соответствовало его мужественному гению, беседовал с одним из тех холодных насмешников, которые, смотря по обстоятельствам, или ни в ком не хотят видеть превосходства, или признают его всюду. Остроумнейший из наших карикатуристов, со взглядом лукавым и языком язвительным, ловил эпиграммы, чтобы передать их штрихами карандаша. Молодой и смелый писатель, лучше, чем кто-нибудь другой, схватывающий суть политических идей и шутя, в двух-

трех словах, умеющий выразить сущность какого-нибудь плодовитого автора, разговаривал с поэтом, который затмил бы всех своих современников, если бы обладал талантом, равным по силе его ненависти к соперникам. Оба, стараясь избегать и правды и лжи, обращались друг к другу со сладкими, льстивыми словами. Знаменитый музыкант, взяв си-бемоль, насмешливо утешал молодого политического деятеля, который недавно низвергся с трибуны, но не причинил себе никакого вреда. Молодые писатели без стиля стояли рядом с молодыми писателями без идей, прозаики, жадные до поэтических красот, – рядом с прозаичными поэтами. Бедный сенсимонист, достаточно наивный для того, чтобы верить в свою доктрину, из чувства милосердия примирял эти несовершенные существа, очевидно, желая сделать из них монахов своего ордена. Здесь были, наконец, два-три ученых, созданных для того, чтобы разбавлять атмосферу беседы азотом, и несколько водевилистов, готовых в любую минуту сверкнуть эфемерными блестками, которые, подобно искрам алмаза, не светят и не греют. Несколько парадоксалистов, исподтишка посмеиваясь над теми, кто разделял их презрительное или же восторженное отношение к людям и обстоятельствам, уже повели обоюдоострую политику, при помощи которой они вступают в заговор против всех систем, не становясь ни на чью сторону. Знаток, из тех, кто ничему не удивляется, кто сморкается во время каватины в Итальянской опере, первым кричит браво, возражает всякому, высказавшему свое суждение прежде него, был уже здесь и повторял чужие остроты, выдавая их за свои собственные. У пятерых из собравшихся гостей была будущность, десятку суждено было добиться кое-какой прижизненной славы, а что до остальных, то они могли, как любая посредственность, повторить знаменитую ложь Людовика XVIII: единение и забвение. Амфитрион находился в состоянии озабоченной веселости, естественной для человека, потратившего на пиршество две тысячи экю. Он часто обращал нетерпеливый взор к дверям залы – как бы с призывом к запоздавшим гостям. Вскоре появился толстый человечек, встреченный лестным гулом приветствий, – это был нотариус, который как раз в это утро завершил сделку по изданию новой газеты. Лакей, одетый в черное, отворил двери просторной столовой, и все двинулись туда без церемоний, чтобы занять предназначенные им места за огромным столом. Перед тем как уйти из гостиной, Рафаэль бросил на нее последний взгляд. Его желание в самом деле исполнилось в точности. Всюду, куда ни помотришь, золото и шелк. При свете дорогих канделябров с бесчисленным множеством свечей сверкали мельчайшие детали золоченых фризмов, тонкая чеканка бронзы и роскошные краски мебели. Редкостные цветы в художественных жардиньерках, сооруженных из бамбука, изливали сладостное благоухание. Все, вплоть до драпировок, дышало не бьющим в глаза изяществом, во всем было нечто очаровательно-поэтическое, нечто такое, что

должно сильно действовать на воображение бедняка.

– Сто тысяч ливров дохода – премилый комментарий к катехизису, они чудесно помогают нам претворять правила морали в жизнь! – со вздохом сказал Рафаэль. – О да, моя добродетель больше не согласна ходить пешком! Порок для меня – это мансарда, потертое платье, серая шляпа зимой и долги швейцару... Ах, пожить бы в такой роскоши год, даже полгода, а потом – умереть! По крайней мере я изведу, выпью до дна, поглощу тысячу жизней!

– Э, ты принимаешь за счастье карету биржевого маклера! – возразил слушавший его Эмиль. – Богатство скоро наскучит тебе, поверь: ты заметишь, что оно лишает тебя возможности стать выдающимся человеком. Колебался ли когда-нибудь художник между бедностью богатых и богатством бедняков! Разве таким людям, как мы, не нужна вечная борьба! Итак, приготовь свой желудок, взгляни, – сказал он, жестом указывая на столовую блаженного капиталиста, имевшую величественный, райский, успокоительный вид. – Честное слово, наш амфитрион только ради нас и утруждал себя накоплением денег. Не разновидность ли это губки, пропущенной натуралистами в ряду полипов? Сию губку надлежит потихоньку выжимать, прежде чем ее высосут наследники! Взгляни, как хорошо выдержан стиль барельефов, украшающих стены! А люстры и картины – что за роскошь, какой вкус! Если верить завистникам и тем, кто претендует на знание пружин жизни, Тайфер убил во время революции одного немца и еще двух человек, как говорят – своего лучшего друга и мать этого лучшего друга. А ну-ка, попробуй обнаружить преступника в убеленном сединами почтенном Тайфере! На вид он добряк. Посмотри, как искрится серебро... неужели каждый блестящий его луч – это нож в сердце для хозяина дома!.. Оставь, пожалуйста! С таким же успехом можно поверить в Магомета. Если публика права, значит, тридцать человек с душой и талантом собрались здесь для того, чтобы пожирать внутренности и пить кровь целой семьи... а мы оба, чистые, восторженные молодые люди, станем соучастниками преступления! Мне хочется спросить у нашего капиталиста, честный ли он человек...

– Не сейчас! – воскликнул Рафаэль. – Подождем, когда он будет мертвецки пьян. Сначала пообедаем.

Два друга со смехом уселись. Сперва каждый гость взглядом, опередившим слово, заплатил дань восхищения роскошной сервировке длинного стола; скатерть сияла белизной, как только что выпавший снег, симметрически возвышались накрахмаленные салфетки, увенчанные золотистыми хлебцами,

хрусталь сверкал, как звезды, переливаясь всеми цветами радуги, огни свечей бесконечно скрещивались, блюда под серебряными крышками возбуждали аппетит и любопытство. Слов почти не произносили. Соседи переглядывались. Лакеи разливали мадеру. Затем во всей славе своей появилась первая перемена: она оказала бы честь блаженной памяти Камбасересу, его прославил бы Бриья-Саварен. Вина бордоские и бургундские, белые и красные, подавались с королевской щедростью. Эту первую часть пиршества во всех отношениях можно было сравнить с экспозицией классической трагедии. Второе действие оказалось немножко многословным. Все гости основательно выпили, меняя вина по своему вкусу, и когда уносили остатки великолепных блюд, уже начались бурные споры; кое у кого бледные лбы покраснели, у иных носы уже принимали багровый цвет, щеки пылали, глаза блестели. На этой заре опьянения разговор не вышел еще из границ приличия, однако со всех уст мало-помалу стали срывать шуточки и остроты; затем злословие тихонько подняло змеиную свою головку и заговорило медоточивым голосом; скрытные натуры внимательно прислушивались в надежде не потерять рассудка. Ко второй перемене умы уже разгорячились. Все ели и говорили, говорили и ели, пили, не остерегаясь обилия возлияний, – до того вина были приятны на вкус и душисты и так заразителен был пример. Чтобы подзадорить гостей, Тайфер велел подать ронские вина жестокой крепости, горячащее токайское, старый, ударяющий в голову русильон. Сорвавшись, точно кони почтовой кареты, поскакавшие от станции, молодые люди, подстегиваемые искорками шампанского, нетерпеливо ожидавшегося, зато щедро налитого, пустили свой ум галопировать в пустоте тех рассуждений, которым никто не внимлет, принялись рассказывать истории, не находившие себе слушателей, в сотый раз задавали вопросы, так и остававшиеся без ответа. Одна только оргия говорила во весь свой оглушительный голос, состоявший из множества невнятных криков, нараставших, как крещендо у Россини. Затем начались лукавые тосты, бахвальство, дерзости. Все стремились щегольнуть не умственными своими дарованиями, но способностью состязаться с винными бочонками, бочками, чанами. Казалось, у всех было по два голоса. Настал момент, когда господа заговорили все разом, а слуги заулыбались. Когда парадоксы, облеченные сомнительным блеском, и вырядившиеся в шутовской наряд истины стали сталкиваться друг с другом, пробивая себе дорогу сквозь крики, сквозь частные определения суда и окончательные приговоры, сквозь всякий вздор, как в сражении скрещиваются ядра, пули и картечь; этот словесный сумбур, вне всякого сомнения, заинтересовал бы философа странностью высказываемых мыслей, захватил бы политического деятеля причудливостью излагаемых систем общественного устройства. То была картина и книга одновременно. Философские теории, религии, моральные понятия, различные под разными

широтами, правительства – словом, все великие достижения разума человеческого пали под косою, столь же длинною, как коса Времени, и, пожалуй, нельзя было решить, находится ли она в руках опьяневшей мудрости или же опьянения. Подхваченные своего рода бурей, эти умы, точно волны, бьющиеся об утесы, готовы были, казалось, поколебать все законы, между которыми плавают цивилизации, – и таким образом, сами того не зная, выполняли волю Бога, оставившего в природе место добру и злу и хранящего в тайне смысл их непрестанной борьбы. Яростный и шутовской этот спор был настоящим шабашем рассуждений. Между грустными шутками, которые отпускали сейчас дети Революции при рождении газеты, и суждениями, которые высказывали веселые пьяницы при рождении Гаргантюа, была целая пропасть, отделяющая девятнадцатый век от шестнадцатого: тот, смеясь, подготавливал разрушение, наш – смеялся среди развалин.

– Как фамилия вон того молодого человека? – спросил нотариус, указывая на Рафаэля. – Мне слышалось, его называют Валантенем.

– По-вашему, он просто Валантен? – со смехом воскликнул Эмиль. – Нет, извините, он – Рафаэль де Валантен! Наш герб – на черном поле золотой орел в серебряной короне, с красными когтями и клювом, и превосходный девиз: «Non secidit animus!» [5 - «Дух не ослабел!» (лат.)] Мы – не какой-нибудь подкидыш, мы – потомок императора Валента, родоначальника всех Валантинуа, основателя Валансы французской и Валенсии испанской, мы – законный наследник Восточной империи. Если мы позволяем Махмуду царить в Константинополе, так это по нашей доброй воле, а также за недостатком денег и солдат.

Эмиль вилкою изобразил в воздухе корону над головой Рафаэля. Нотариус задумался на минуту, а затем снова начал пить, сделав выразительный жест, которым он, казалось, признавал, что не в его власти причислить к своей клиентуре Валенсию, Валансу, Константинополь, Махмуда, императора Валента и род Валантинуа.

– В разрушении муравейников, именуемых Вавилоном, Тиром, Карфагеном или Венецией, раздавленных ногою прохожего великана, не следует ли видеть предостережение, сделанное человечеству некоей насмешливой силой? – сказал Клод Виньон, этот раб, купленный для того, чтобы изображать собою Боссюэ, по десять су за строчку.

– Моисей, Сулла, Людовик Четырнадцатый, Ришелье, Робеспьер и Наполеон, быть может, все они – один и тот же человек, вновь и вновь появляющийся среди различных цивилизаций, как комета на небе, – отозвался некий балланшист.

– К чему испытывать провидение? – заметил поставщик баллад Каналис.

– Ну уж провидение! – прервав его, воскликнул знаток. — Нет ничего на свете более растяжимого.

– Но Людовик Четырнадцатый погубил больше народу при рытье водопроводов для госпожи де Ментенон, чем Конвент ради справедливого распределения податей, ради установления единства законов, ради национализации и равного дележа наследства, – разглагольствовал Массоль, молодой человек, ставший республиканцем только потому, что перед его фамилией недоставало односложной частицы.

– Кровь для вас дешевле вина, – возразил ему Моро, крупный помещик с берегов Уазы. – Ну, а на этот-то раз вы оставите людям головы на плечах?

– Зачем? Разве основы социального порядка не стоят нескольких жертв?

– Бисиу! Ты слышишь? Сей господин республиканец полагает, что голова вот того помещика сойдет за жертву! – сказал молодой человек своему соседу.

– Люди и события – ничто, – невзирая на икоту, продолжал развивать свою теорию республиканец, – только в политике и в философии есть идеи и принципы.

– Какой ужас! И вам не жалко будет убивать ваших друзей ради одного какого-то «да»?..

– Э, человек, способный на угрызания совести, и есть настоящий преступник, ибо у него есть некоторое представление о добродетели, тогда как Петр Великий или герцог Альба – это системы, а корсар Монбар – это организация.

– А не может ли общество обойтись без ваших «систем» и ваших «организаций»? – спросил Каналис.

– О, разумеется! – воскликнул республиканец.

– Меня тошнит от вашей дурацкой Республики! Нельзя спокойно разрезать каплуна, чтобы не найти в нем аграрного закона.

– Убеждения у тебя превосходные, милый мой Брут, набитый трюфелями! Но ты напоминаешь моего лакея: этот дурак так жестоко одержим манией опрятности, что, позволь я ему чистить мое платье на свой лад, мне пришлось бы ходить голышом.

– Все вы скоты! Вам угодно чистить нацию зубочисткой, – заметил преданный Республике господин. – По-вашему, правосудие опаснее воров.

– Хе, хе! – отозвался адвокат Дерош.

– Как они скучны со своей политикой! – сказал нотариус Кардо. – Закройте дверь. Нет того знания и такой добродетели, которые стоили бы хоть одной капли крови. Попробуй мы всерьез подсчитать ресурсы истины – и она, пожалуй, окажется банкротом.

– Конечно, худой мир лучше доброй ссоры и обходится куда дешевле. Поэтому все речи, произнесенные с трибуны за сорок лет, я отдал бы за одну форель, за сказку Перро или за набросок Шарле.

– Вы совершенно правы!.. Передайте-ка мне спаржу... Ибо в конце концов свобода рождает анархию, анархия приводит к деспотизму, а деспотизм возвращает к свободе. Миллионы существ погибли, так и не добившись торжества ни одной из этих систем. Разве это не порочный круг, в котором вечно будет вращаться нравственный мир? Когда человек думает, что он что-либо усовершенствовал, на самом деле он сделал только перестановку.

– Ого! – вскричал водевилист Кюрсин. – В таком случае, господа, я поднимаю бокал за Карла Десятого, отца свободы!

– А разве не верно? – сказал Эмиль. – Когда в законах – деспотизм, в нравах – свобода, и наоборот.

– Итак, выпьем за глупость власти, которая дает нам столько власти над глупцами! – предложил банкир.

– Э, милый мой, Наполеон по крайней мере оставил нам славу! – вскричал морской офицер, никогда не плававший дальше Бреста.

– Ах, слава – товар невыгодный. Стоит дорого, сохраняется плохо. Не проявляется ли в ней эгоизм великих людей, так же как в счастье – эгоизм глупцов?

– Должно быть, вы очень счастливы...

– Кто первый огородил свои владения, тот, вероятно, был слабым человеком, ибо от общества прибыль только людям хилым. Дикарь и мыслитель, находящиеся на разных концах духовного мира, равно страшатся собственности.

– Мило! – вскричал Кардо. – Не будь собственности, как могли бы мы составлять нотариальные акты!

– Вот горошек, божественно вкусный!

– А на следующий день священника нашли мертвым...

– Кто говорит о смерти?.. Не шутите с нею! У меня дядюшка...

– И конечно, вы примирились с неизбежностью его кончины.

– Разумеется...

– Слушайте, господа!.. способ убить своего дядюшку. Тсс! (Слушайте, слушайте!) Возьмите сначала дядюшку, толстого и жирного, по крайней мере семидесятилетнего, – это лучший сорт дядюшек. (Всеобщее оживление.) Накормите его под каким-нибудь предлогом паштетом из гусиной печени...

– Ну, у меня дядя длинный, сухопарый, скупой и воздержный.

- О, такие дядюшки – чудовища, злоупотребляющие долголетием!

- И вот, – продолжал господин, выступивший с речью о дядюшке, – в то время как он будет предаваться пищеварению, объявите ему о несостоятельности его банкира.

- А если выдержит?

- Дайте ему хорошенькую девочку!

- А если он?.. – сказал другой, делая отрицательный знак.

- Тогда это не дядюшка... Дядюшка – это по существу своему живчик.

- В голосе Малибран пропали две ноты.

- Нет!

- Да!

- Ага! Ага! Да и нет – не к этому ли сводятся все рассуждения на религиозные, политические и литературные темы? Человек – шут, танцующий над пропастью!

- Послушать вас, я – дурак?

- Напротив, это потому, что вы меня не слушаете.

- Образование – вздор! Господин Гейнфеттермах насчитывает свыше миллиарда отпечатанных томов, а за всю жизнь нельзя прочесть больше ста пятидесяти тысяч. Так вот, объясните мне, что значит слово «образование». Для одних образование состоит в том, чтобы знать, как звали лошадь Александра Македонского или что дога господина Дезаккор звали Беросилло, и не иметь понятия о тех, кто впервые придумал сплавлять лес или же изобрел фарфор. Для других быть образованным – значит выкрасть завещание и прослыть честным, всеми любимым и уважаемым человеком, но отнюдь не в том, чтобы стянуть часы (да еще вторично и при пяти отягчающих вину обстоятельствах), а затем, возбуждая всеобщую ненависть и презрение, отправиться умирать на

Гревскую площадь.

- Натан останется?

- Э, его сотрудники народ неглупый!

- А Каналис?

- Это великий человек, не будем говорить о нем.

- Вы пьяны!

- Немедленное следствие конституции – опошление умов. Искусства, науки, памятники – все изъедено эгоизмом, этой современной проказой. Триста ваших буржуа, сидя на скамьях палаты, будут думать только о посадке тополей. Деспотизм, действуя незаконно, совершает великие деяния, но свобода, соблюдая законность, не дает себе труда совершить хотя бы самые малые деяния.

- Ваше взаимное обучение фабрикует двуногие монеты по сто су, – вмешался сторонник абсолютизма. – В народе, нивелированном образованием, личности исчезают.

- Однако не в том ли состоит цель общества, чтобы обеспечить благосостояние каждому? – спросил сенсимонист.

- Будь у вас пятьдесят тысяч ливров дохода, вы и думать не стали бы о народе. Вы охвачены благородным стремлением помочь человечеству? Отправляйтесь на Мадагаскар: там вы найдете маленький свеженький народец, сенсимонизируйте его, классифицируйте, посадите его в банку, а у нас всякий свободно входит в свою ячейку, как колышек в ямку. Швейцары здесь – швейцары, глупцы – глупцы, и для производства в это звание нет необходимости в коллегиях святых отцов.

- Вы карлист!

– А почему бы и нет? Я люблю деспотизм, он подразумевает известного рода презрение к людям. Я не питаю ненависти к королям. Они так забавны! Царствовать в палате, в тридцати миллионах миль от солнца, – это что-нибудь да значит!

– Резюмируем в общих чертах ход цивилизации, – говорил ученый, пытаюсь вразумить невнимательного скульптора, и пустился в рассуждения о первоначальном развитии человеческого общества и о первобытных народах. – При возникновении народностей господство было в известном смысле господством материальным, единым, грубым; впоследствии, с образованием крупных объединений, стали утверждаться правительства, прибегая к более или менее ловкому разложению первичной власти. Так, в глубокой древности сила была сосредоточена в руках теократии: жрец действовал и мечом и каминой. Потом стало два высших духовных лица: первосвященник и царь. В настоящее время наше общество, последнее слово цивилизации, распределило власть соответственно числу всех элементов, входящих в сочетание, и мы имеем дело с силами, именуемыми промышленностью, мыслью, деньгами, словесностью. И вот власть, лишившись единства, ведет к распаду общества, чему единственным препятствием служит выгода. Таким образом, мы опираемся не на религию, не на материальную силу, а на разум. Но равноценна ли книга мечу, а рассуждение – действию? Вот в чем вопрос.

– Разум все убил! – вскричал карлист. – Абсолютная свобода ведет нации к самоубийству; одержав победу, они начинают скучать, словно какой-нибудь англичанин-миллионер.

— Что вы нам скажете нового? Нынче вы высмеяли все виды власти, но это так же пошло, как отрицать Бога! Вы больше ни во что не верите. Оттого-то наш век похож на старого султана, погубившего себя распутством! Ваш лорд Байрон, дойдя до последней степени поэтического отчаяния, в конце концов стал воспевать преступления.

– Знаете, что я вам скажу! – заговорил совершенно пьяный Бьяншон. – Большая или меньшая доза фосфора делает человека гением или же злодеем, умницей или же идиотом, добродетельным или же преступным.

– Можно ли так рассуждать о добродетели! – воскликнул де Кюпси. – О добродетели, теме всех театральные пьес, развязке всех драм, основе всех судебных учреждений!

- Молчи, нахал! Твоя добродетель – Ахиллес без пяты, – сказал Бисиу.

- Выпьем!

- Хочешь держать пари, что я выпью бутылку шампанского единым духом?

- Хорош дух! – вскрикнул Бисиу.

- Они перепились, как ломовые, – сказал молодой человек, с серьезным видом поивший свой жилет.

- Да, в наше время искусство правления заключается в том, чтобы предоставить власть общественному мнению.

- Общественному мнению? Да ведь это самая развратная из всех проституток! Послушать вас, господа моралисты и политики, вашим законам мы должны во всем отдавать предпочтение перед природой, а общественному мнению – перед совестью. Да бросьте вы! Все истинно – и все ложно! Если общество дало нам пух для подушек, то это благодеяние уравнивается подагрой, точно так же как правосудие уравнивается судебной процедурой, а кашемировые шали порождают насморк.

- Чудовище! – прерывая мизантропа, сказал Эмиль Блонде. – Как можешь ты порочить цивилизацию, когда перед тобой столь восхитительные вина и блюда, а ты сам того и гляди свалишься под стол? Запусти зубы в эту косялку с золочеными копытцами и рогами, но не кусай своей матери...

- Чем же я виноват, если католицизм доходит до того, что в один мешок сует тысячу богов, если Республика кончается всегда каким-нибудь Наполеоном, если границы королевской власти находятся где-то между убийством Генриха Четвертого и казнью Людовика Шестнадцатого, если либерализм становится Лафайетом?

- А вы не обнимались с ним в Июле?

- Нет.

- В таком случае молчите, скептик.
- Скептики – люди самые совестливые.
- У них нет совести.
- Что вы говорите! У них по меньшей мере две совести.
- Учсть векселя самого неба – вот идея поистине коммерческая! Древние религии представляли собою не что иное, как удачное развитие наслаждения физического; мы, нынешние, мы развили душу и надежду – в том и прогресс.
- Ах, друзья мои, чего ждать от века, насыщенного политикой? – сказал Натан. – Каков был конец «Истории богемского короля и семи его замков» – такой чудесной повести!
- Что? – через весь стол крикнул знаток. — Да ведь это набор фраз, высосанных из пальца, сочинение для сумасшедшего дома!
- Дурак!
- Болван!
- Ого!
- Ага!
- Они будут драться.
- Нет.
- До завтра, милостивый государь!
- Хоть сейчас, – сказал Натан.
- Ну, ну! Вы оба – храбрецы.

- Да вы-то не из храбрых! - сказал зачинщик.

- Вот только они на ногах не держатся.

- Ах, может быть, мне и на самом деле не устоять! - сказал воинственный Натан, поднимаясь нерешительно, как бумажный змей.

Он тупо поглядел на стол, а затем, точно обессиленный своей попыткой встать, рухнул на стул, опустил голову и умолк.

- Вот было бы весело драться из-за произведения, которое я никогда не читал и даже не видал! - обратился знаток к своему соседу.

— Эмиль, береги фрак, твой сосед побледнел, - сказал Бисиу.

- Кант? Еще один шар, надутый воздухом и пущенный на забаву глупцам!  
Материализм и спиритуализм - это две отличные ракетки, которыми шарлатаны в мантиях отбивают один и тот же волан. Бог ли во всем, по Спинозе, или же все исходит от Бога, по святому Павлу... Дурачье! Отворить или же затворить дверь - разве это не одно и то же движение! Яйцо от курицы, или курица от яйца? (Передайте мне утку!) Вот и вся наука.

- Простофиля! - крикнул ему ученый. - Твой вопрос разрешен фактом.

- Каким?

- Разве профессорские кафедры были придуманы для философии, а не философия для кафедр? Надень очки и ознакомься с бюджетом.

- Воры!

- Дураки!

- Плуты!

- Тупицы!

- Где, кроме Парижа, найдете вы столь живой, столь быстрый обмен мнениями? - воскликнул Бисиу, вдруг перейдя на баритон.

- А ну-ка, Бисиу, изобрази нам какой-нибудь классический фарс! Какой-нибудь шарж, просим!

- Изобразить вам девятнадцатый век?

- Слушайте!

- Тише!

- Заткните глотки!

- Ты замолчишь, чучело?

- Дайте ему вина, и пусть молчит, мальчишка!

- Ну, Бисиу, начинай!

Художник застегнул свой черный фрак, надел желтые перчатки и, прищулив один глаз, состроил гримасу, изображая «Ревю де де Монд», но шум покрывал его голос, так что из его шутовской речи нельзя было уловить ни слова. Если не девятнадцатый век, так по крайней мере журнал ему удалось изобразить: и тот и другой не слышали собственных слов.

Десерт был сервирован точно по волшебству. Весь стол занял большой прибор золоченой бронзы, вышедший из мастерской Томира. Высокие фигуры, которым знаменитый художник придал формы, почитаемые в Европе идеально красивыми, держали и несли на плечах целые горы клубники, ананасов, свежих фиников, янтарного винограда, золотистых персиков, апельсинов, прибывших на пароходе из Сетубаля, гранатов, плодов из Китая - словом, всяческие сюрпризы роскоши, чудеса кондитерского искусства, деликатесы самые лакомые, лакомства самые соблазнительные. Колорит гастрономических этих картин стал ярче от блеска фарфора, от искрящихся золотом каемок, от изгибов ваз. Мох, нежный, как пенная бахрома океанской волны, зеленый и легкий, увенчивал фарфоровые копии пейзажей Пуссена. Целого немецкого княжества не хватило

бы, чтобы оплатить эту наглую роскошь. Серебро, перламутр, золото, хрусталь в разных видах появлялись еще и еще, но затуманенные взоры гостей, на которых напала пьяная лихорадочная болтливость, почти не замечали этого волшебства, достойного восточной сказки. Десертные вина внесли сюда свои благоухания и огоньки, свой остро волнующий сок и колдовские пары, порождая нечто вроде умственного миража, могучими путами сковывая ноги, отяжеляя руки. Пирамиды плодов были расхищены, голоса грубели, шум возрастал. Слова звучали невнятно, бокалы разбивались вдребезги, дикий хохот взлетал как ракета. Кюрсис схватил рог и протрубил сбор. То был как бы сигнал, поданный самим дьяволом. Обезумевшее сборище завывало, засвистало, запело, закричало, заревело, зарычало. Нельзя было не улыбнуться при виде веселых от природы людей, которые вдруг становились мрачны, как развязки в пьесах Крепильона, или же задумчивы, как моряки, путешествующие в карете. Хитрецы выбалтывали свои тайны любопытным, но даже те их не слушали. Меланхолики улыбались, как танцовщицы после пируэта. Клод Виньон стоял, раскачиваясь из стороны в сторону, точно медведь в клетке. Близкие друзья готовы были драться. Сходство со зверями, начертанное на человеческих лицах и столь любопытно объясняемое физиологами, начинало проглядывать и в движениях и в позах. Какой-нибудь Биша, очутись он здесь, спокойный и трезвый, нашел бы для себя готовую книгу. Хозяин дома, чувствуя, что он опьянел, не решался встать, – стараясь сохранить вид приличный и радушный, он только одобрял выходки гостей застывшей на лице гримасой. Его широкое лицо побагровело, стало почти лиловым и страшным, голова принимала участие в общем движении, клонясь, как бриг при боковой качке.

– Вы их убили? – спросил его Эмиль.

– Говорят, смертная казнь будет отменена в честь Июльской революции, – отвечал Тайфер, подняв брови с видом, одновременно хитрым и глупым.

– А не снятся они вам? – допытывался Рафаэль.

– Срок давности уже истек! – сказал утопающий в золоте убийца.

– И на его гробнице, – язвительно вскричал Эмиль, – мраморщик вырежет: «Прохожий, в память о нем пролей слезу». О! – продолжал он, – сто су заплатил бы я математику, который при помощи алгебраического уравнения доказал бы мне существование ада.

Подбросив монету, он крикнул:

– Орел – за Бога!

– Не смотрите! – сказал Рафаэль, подхватывая монету. – Как знать! Случай – такой забавник!

– Увы! – продолжал Эмиль шутовским печальным тоном, – куда ни ступишь, всюду геометрия безбожника или «Отче наш» его святейшества папы. Впрочем, выпьем! Чокайся! – таков, думается мне, смысл прорицания божественной бутылки в конце «Пантагрюэля».

– Чему же, как не «Отче наш», – возразил Рафаэль, – обязаны мы нашими искусствами, памятниками, может быть, науками и – еще большее благодеяние! – нашими современными правительствами, где пятьсот умов чудесным образом представляют обширное и плодоносное общество, причем противоположные силы одна другую нейтрализуют, а вся власть предоставлена цивилизации, гигантской королеве, заменившей короля, эту древнюю и ужасную фигуру, своего рода лжесудьбу, которую человек сделал посредником между небом и самим собою? Перед лицом стольких достижений атеизм кажется скелетом, который ничего решительно не порождает. Что ты на это скажешь?

– Я думаю о потоках крови, пролитых католицизмом, – холодно ответил Эмиль. – Он проник в наши жилы, в наши сердца, – прямо Всемирный потоп. Но что делать! Всякий мыслящий человек должен идти под стягом Христа. Только Христос освятил торжество духа над материей, он один открыл нам поэзию мира, служащего посредником между нами и Богом.

– Ты думаешь? – спросил Рафаэль, улыбаясь пьяной и какой-то неопределенной улыбкой. – Ладно, чтобы нам себя не компрометировать, провозгласим знаменитый тост: *Diis ignotis* [б - Неведомым богам (лат.)].

И они осушили чаши – чаши науки, углекислого газа, благовоний, поэзии и неверия.

– Пожалуйте в гостиную, кофе подан, – объявил дворецкий.

В этот момент почти все гости блуждали в том сладостном преддверии рая, где свет разума гаснет, где тело, освободившись от своего тирана, предается на свободе бешеным радостям. Одни, достигнув апогея опьянения, хмурились, усиленно пытались ухватиться за мысль, которая удостоверяла бы им собственное их существование; другие, осовевшие оттого, что пища у них переваривалась с трудом, отвергали всякое движение. Отважные ораторы еще произносили неясные слова, смысл которых ускользал от них самих. Кое-какие припевы еще звучали, точно постукивала машина, по необходимости завершающая свое движение – это бездушное подобие жизни. Суматоха причудливо сочеталась с молчанием. Тем не менее, услышав громкий голос слуги, который вместо хозяина возвещал радости, гости направились в залу, увлекая и поддерживая друг друга, а кое-кого даже неся на руках. На мгновение толпа остановилась в дверях, неподвижная и очарованная. Все наслаждения пира побледнели перед тем возбуждающим зрелищем, которое предлагал амфитрион в утеху самых сладострастных из человеческих чувств. При свете горящих в золотой люстре свечей, вокруг стола, уставленного золоченым серебром, группа женщин внезапно предстала перед остолбеневшими гостями, у которых глаза заискрились, как бриллианты. Богаты были уборы, но еще богаче – ослепительная женская красота, перед которой меркли все чудеса этого дворца. Страстные взоры дев, пленительных, как феи, сверкали ярче потоков света, зажигавшего отблески на штофных обоях, на белизне мрамора и красивых выпуклостях бронзы. Сердца пламенели при виде развевающихся локонов и по-разному привлекательных, по-разному характерных поз. Глаза окидывали изумленным взглядом пеструю гирлянду цветов, попеременно с сапфирами, рубинами и кораллами, цепь черных ожерелий на белоснежных шеях, легкие шарфы, колыхающиеся, как пламя маяка, горделивые тюрбаны, соблазнительно скромные туники... Этот сераль обольщал любые взоры, услаждал любые прихоти. Танцовщица, застывшая в очаровательной позе под волнистыми складками кашемира, казалась обнаженной. Там – прозрачный газ, здесь – переливающийся шелк скрывал или обнаруживал таинственные совершенства. Узенькие ножки говорили о любви, уста безмолвствовали, свежие и алые. Юные девицы были такой тонкой подделкой под невинных робких дев, что, казалось, даже прелестные их волосы дышат богомольной чистотой, а сами они – светлые видения, которые вот-вот развеются от одного дуновения. А там красавицы аристократки с надменным выражением лица, но в сущности вялые, в сущности хилые, тонкие, изящные, склоняли головы с таким видом, как будто еще не все королевские милости были ими распроданы. Англичанка – белый и целомудренный воздушный образ, сошедший с облаков Оссиана, – походила на ангела печали, на голос совести, бегущей от преступления. Парижанка, вся красота которой в ее неопишуемой грации, гордая своим туалетом и умом, во

всеоружии всемогущей своей слабости, гибкая и сильная, сирена бессердечная и бесстрастная, но умеющая искусственно создавать все богатство страсти и подделывать все оттенки нежности, – и она была на этом опасном собрании, где блистали также итальянки, с виду беспечные, дышащие счастьем, но никогда не теряющие рассудка, и пышные нормандки с великолепными формами, и черноволосые южанки с прекрасным разрезом глаз. Можно было подумать, что созванные Лебелем версальские красавицы, уже с утра приведя в готовность все свои приманки, явились сюда, словно толпа восточных рабынь, пробужденных голосом купца и готовых на заре исчезнуть. Застыдившись, они смущенно теснились вокруг стола, как пчелы, гудящие в улье. Боязливое их смятение, в котором был и укор и кокетство, – все вместе представляло собой не то расчетливый соблазн, не то невольное проявление стыдливости. Быть может, чувство, никогда целиком не обнаруживаемое женщиной, повелевало им кутаться в плащ добродетели, чтобы придать больше очарования и остроты разгулу порока. И вот заговор Тайфера, казалось, был осужден на неудачу. Необузданные мужчины вначале сразу покорились царственному могуществу, которым облечена женщина. Шепот восхищения пронесся как нежнейшая музыка. В эту ночь любовь еще не сопутствовала их опьянению; вместо того чтобы предаться урагану страстей, гости, захваченные врасплох в минуту слабости, отдались утехам сладостного экстаза. Художники, послушные голосу поэзии, господствующей над ними всегда, принялись с наслаждением изучать изысканную красоту этих женщин во всех ее тончайших оттенках. Философ, пробужденный мыслью, которую, вероятно, породила выделяемая шампанским углекислота, вздрогнул, подумав о несчастьях, которые привели сюда этих женщин, некогда достойных, быть может, самого чистого поклонения. Каждая из них, вероятно, могла бы поведать кровавую драму. Почти все они носили в себе адские муки, влачили за собой воспоминание о мужской неверности, о нарушенных обетах, о радостях, отнятых нуждой. Гости учтиво приблизились к ним, завязались разговоры, столь же разнообразные, как и характеры собеседников. Образовались группы. Можно было подумать, что это гостиная в порядочном доме, где молодые девушки и дамы обычно предлагают гостям после обеда кофе, сахар и ликеры, облегчающие чревоугодникам тяжкий труд переваривания пищи. Но вот кое-где послышался смех, гул разговоров усиливался, голоса стали громче. Оргия, недавно было укрощенная, грозила вновь пробудиться. Смены тишины и шума чем-то напоминали симфонию Бетховена.

Как только два друга сели на мягкий диван, к ним тотчас подошла высокая девушка, хорошо сложенная, с горделивой осанкой, с чертами лица довольно неправильными, но волнующими, но полными страсти, действующими на

воображение резкими своими контрастами. Черные пышные волосы, казалось, уже побывавшие в любовных боях, рассыпались легкими сладострастными кольцами по округлым плечам, невольно привлекавшим взгляд. Длинные темные локоны наполовину закрывали величественную шею, по которой временами скользил свет, обрисовывая тонкие, изумительно красивые контуры. Матовую белизну лица оттеняли яркие, живые тона румянца. Глаза с длинными ресницами метали смелое пламя, искры любви. Алый рот, влажный и полуоткрытый, призывал к поцелую. Стан у этой девушки был полный, но гибкий, как бы созданный для любви, грудь и плечи пышно развитые, как у красавиц Каррачи; тем не менее она производила впечатление проворной и легкой, ее сильное тело заставляло предполагать в ней подвижность пантеры, мужественное изящество форм сулило жгучие радости сладострастия. Хотя эта девушка умела, вероятно, смеяться и дурачиться, ее глаза и улыбка пугали воображение. Она напоминала пророчицу, одержимую демоном, она скорее изумляла, нежели нравилась. То одно, то другое выражение на секунду молнией озаряло подвижное ее лицо. Пресыщенных людей она, быть может, обворожила бы, но юноша устранился бы ее. То была колоссальная статуя, упавшая с фронтона греческого храма, великолепная издали, но грубоватая при ближайшем рассмотрении. Тем не менее разительной своею красотой она, должно быть, возбуждала бессильных, голосом своим чаровала глухих, своим взглядом оживляла старые кости; вот почему Эмиль находил в ней какое-то сходство то ли с трагедией Шекспира, чудным арабеском, где радость поднимает вой, где в любви есть что-то дикое, где очарование изящества и пламя счастья сменяют кровавое бесчинство гнева; то ли с чудовищем, умеющим и кусать и ласкать, хохотать, как демон, плакать, как ангел, в едином объятии внезапно слить все женские соблазны, за исключением вздохов меланхолии и чарующей девичьей скромности, потом спустя мгновение взреветь, истерзать себя, сломить свою страсть, своего любовника, наконец, погубить самое себя, подобно возмущенному народу. Одета в платье из красного бархата, она небрежно ступала по цветам, уже оброненным с головы ее подругами, и надменным движением протягивала двум друзьям серебряный поднос. Гордая своей красотой, гордая, быть может, своими пороками, она выставляла напоказ белую руку, ярко обрисовавшуюся на алом бархате. Она была как бы королевой наслаждений, как бы воплощением человеческой радости, той радости, что расточает сокровища, собранные тремя поколениями, смеется над трупами, издевается над предками, растворяет жемчуг и расплавляет троны, превращает юношей в старцев, а нередко и старцев в юношей, – той радости, которая дозволена только гигантам, уставшим от власти, утомленным мыслью или привыкшим смотреть на войну как на забаву.

– Как тебя зовут? – спросил Рафаэль.

– Акилина.

– А! Ты из «Спасенной Венеции»! – воскликнул Эмиль.

– Да, – отвечала она. – Как папа римский, возвысившись над всеми мужчинами, берет себе новое имя, так и я, превзойдя всех женщин, взяла себе новое имя.

– И как ту женщину, чье имя ты носишь, тебя любит благородный и грозный заговорщик, готовый умереть за тебя? – с живостью спросил Эмиль, возбужденный этой видимостью поэзии.

– Меня любил такой человек, – отвечала она. – Но гильотина стала моей соперницей. Поэтому я всегда отделяю свой наряд чем-нибудь красным, чтобы не слишком предаваться радости.

– О, только разрешите ей рассказать историю четырех ларошельских смельчаков – и она никогда не кончит! Молчи, Акилина. У каждой женщины найдется любовник, о котором можно поплакать, только не все имели счастье, как ты, потерять его на эшафоте. Ах, гораздо лучше знать, что мой любовник лежит в могиле на Кламарском кладбище, чем в постели соперницы.

Слова эти произнесла нежным и мелодичным голосом другая женщина, самое очаровательное, прелестное создание, которое когда-либо палочка феи могла извлечь из волшебного яйца. Она подошла неслышными шагами, и друзья увидели изящное личико, тонкую талию, голубые глаза, смотревшие пленительно-скромным взглядом, свежий и чистый лоб. Стыдливая наядя, вышедшая из ручья, не так робка, бела и наивна, как эта молоденькая, на вид шестнадцатилетняя, девушка, которой, казалось, неведома любовь, неведомо зло, которая еще не познала жизненных бурь, которая только что пришла из церкви, где она, вероятно, молила ангелов ходатайствовать перед Творцом, чтобы он до срока призвал ее на небеса. Только в Париже встречаются эти создания с невинным взором, но скрывающие глубочайшую развращенность, утонченную порочность под чистым и нежным, как цветок маргаритки, челом. Обманутые вначале обещаниями небесной отрады, таящимися в тихой прелести этой молодой девушки, Эмиль и Рафаэль принялись ее расспрашивать, взяв кофе, налитый ею в чашки, которые принесла Акилина. Кончилось тем, что в

глазах обоих поэтов она стала мрачной аллегорией, отразившей еще один лик человеческой жизни, – она противопоставила суровой и страстной выразительности облика горделивой своей подруги образ холодного, сладострастно жестокого порока, который достаточно легкомыслен, чтобы совершить преступление, и достаточно силен, чтобы посмеяться над ним, – своего рода бессердечного демона, который мстит богатым и нежным душам за то, что они испытывают чувства, недоступные для него, и который всегда готов продать свои любовные ужимки, пролить слезы на похоронах своей жертвы и порадоваться, читая вечерком ее завещание. Поэт мог бы залюбоваться прекрасной Акилиной, решительно все должны были бы бежать от трогательной Евфрасии: одна была душою порока, другая – пороком без души.

– Желал бы я знать, думаешь ли ты когда-нибудь о будущем? – сказал Эмиль прелестному этому созданию.

– О будущем? – повторила она смеясь. – Что вы называете будущим? К чему мне думать о том, что еще не существует? Я не заглядываю ни вперед, ни назад. Не достаточно ли большой труд думать о нынешнем дне? А впрочем, мы наше будущее знаем: больница.

– Как можешь ты предвидеть больницу и не стараться ее избежать? – воскликнул Рафаэль.

– А что же такого страшного в больнице? – спросила грозная Акилина. – Ведь мы не матери, не жены; старость подарит нам черные чулки на ноги и морщины на лоб; все, что есть в нас женского, увянет, радость во взоре наших друзей угаснет, – что же нам тогда будет нужно? От всех наших прелестей останется только застарелая грязь, и будет она ходить на двух лапах, холодная, сухая, гниющая, и шелестеть, как опавшие листья. Самые красивые наши тряпки станут отрепьем, от амбры, благоухавшей в нашем будуаре, повеет смертью, трупным духом; к тому же если в этой грязи окажется сердце, то вы все над ним надругаетесь, – ведь вы не позволяете нам даже хранить воспоминания. Таким, какими мы станем в ту пору, не все ли равно – возиться со своими собачонками в богатом доме или разбирать тряпье в больнице? Будем ли мы прятать свои седые волосы под платком в красную и синюю клетку или под кружевами, подметать улицы березовым веником или тюильрийские ступеньки своим атласным шлейфом, будем ли сидеть у золоченого камина или греться у глиняного горшка с горячей золой, смотреть спектакль на Гревской площади или слушать в театре оперу, – велика, подумаешь, разница!

– Aquilina mia [7 - Моя Акилина (итал.)], более чем когда-либо разделяю я твой мрачный взгляд на вещи, – подхватила Евфрасия. – Да, кашемир и веленевая бумага, духи, золото, шелк, роскошь, все, что блестит, все, что нравится, пристало только молодости. Одно лишь время справится с нашими безумствами, но счастье послужит нам оправданием. Вы смеетесь надо мною, – воскликнула она, ядовито улыбаясь обоим друзьям, – а разве я не права? Лучше умереть от наслаждения, чем от болезни. Я не испытываю ни жажды вечности, ни особого уважения к человеческому роду, – стоит только посмотреть, что из него сделал Бог! Дайте мне миллионы, я их растрянжирю, ни сантима не отложу на будущий год. Жить, чтобы нравиться и царить, – вот решение, подсказываемое мне каждым биением моего сердца. Общество меня одобряет, – разве оно не поставляет все в угоду моему мотовству? Зачем Господь Бог каждое утро дает мне доход с того, что я расходую вечером? Зачем вы строите для нас больницы? Не для того ведь Бог поставил нас между добром и злом, чтобы выбирать то, что причиняет нам боль или наводит тоску, – значит, глупо было бы с моей стороны не позабавиться.

– А другие? – спросил Эмиль.

– Другие? Ну, это их дело! По-моему, лучше смеяться над их горестями, чем плакать над своими собственными. Пусть попробует мужчина причинить мне малейшую муку!

– Верно, ты много выстрадала, если у тебя такие мысли! – воскликнул Рафаэль.

– Меня покинули из-за наследства, вот что! – сказала Евфрасия, приняв позу, подчеркивающую всю соблазнительность ее тела. – А между тем я день и ночь работала, чтобы прокормить моего любовника! Не обманут меня больше ни улыбкой, ни обещаниями, я хочу, чтоб жизнь моя была сплошным праздником.

– Но разве счастье не в нас самих? – вскричал Рафаэль.

– А что же, по-вашему, – подхватила Акилина, – видеть, как тобой восхищаются, как тебе льстят, торжествовать над всеми женщинами, даже самыми добродетельными, затмевая их своей красотой, богатством, – это все пустяки? К тому же за один день мы переживаем больше, нежели честная мещанка за десять лет. В этом все дело.

– Разве не отвратительна женщина, лишенная добродетели? – обратился Эмиль к Рафаэлю.

Евфрасия бросила на них взгляд ехидный и ответила с неподражаемой иронией:

– Добродетель! Предоставим ее уродам и горбуням. Что им, бедняжкам, без нее делать?

– Замолчи! – вскричал Эмиль. – Не говори о том, чего ты не знаешь!

– Что? Это я-то не знаю? – возразила Евфрасия. – Отдаваться всю жизнь ненавистному существу, воспитывать детей, которые вас бросят, говорить им «спасибо», когда они ранят вас в сердце, – вот добродетели, которые вы предписываете женщине; и вдобавок, чтобы вознаградить ее за самоотречение, вы налагаете на нее бремя страданий, стараясь ее обольстить; если она устоит, вы ее скомпрометируете. Веселая жизнь! Лучше уж не терять своей свободы, любить тех, кто нравится, и умереть молодой.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

«Что за трепет» (ит.).

2

Подайте милостыню! Ради святой Екатерины! (ит.)

3

Римский сенат и народ (лат.)

4

На восточный лад (лат.)

5

«Дух не ослабел!» (лат.)

6

Неведомым богам (лат.)

7

Моя Акилина (итал.)

----

Купити: <https://tellnovel.com/onore-balzak/shagrenevaya-kozha-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)